

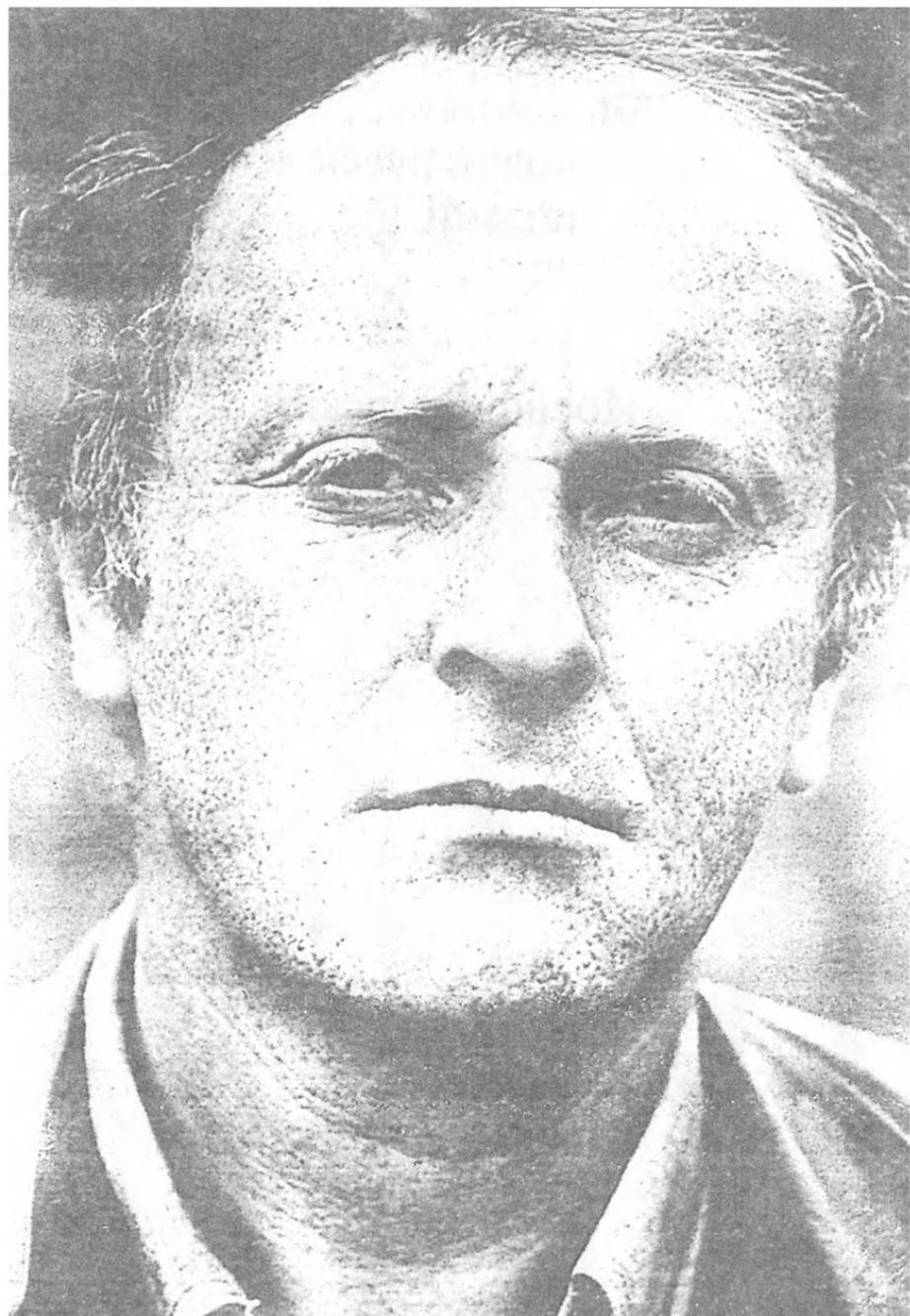
ИОСИФ БРОДСКИЙ

ИЗБРАННОЕ



Библиотека
новой русской
поэзии

1
Иосиф Бродский



Библиотека новой русской поэзии

ИОСИФ БРОДСКИЙ

ИЗБРАННОЕ

Издательство "Третья волна"
Москва – Париж – Нью-Йорк
Издательство "Нейманис" Мюнхен

Александр Глезер, главный редактор
«Библиотеки новой русской поэзии»
Геннадий Комаров, редактор–составитель
Яков Гордин, вступительная статья
Александр Кузнецов, художник
Нина Дреничева, художественный редактор

© И. Бродский 1993 г.

ISBN 5-8629-21-7

© "Пушкинский фонд" 1993 г.

СТРАННИК

Я вижу некий свет...

А. С. Пушкин

И вымолвить хочет: «Давай улетим!»

А. С. Пушкин

Неверно, что «цель поэзии — поэзия». Это Пушкин написал в эпистолярном запале, раздраженный поэтической агитацией Рыльева, для которого поэзия и в самом деле была исключительно функциональна и который превратил ее в служанку сиюминутной политики.

Автор данного предисловия придерживается той банальной точки зрения, что у поэзии есть внешняя цель и эта цель — гармонизация человеческого духа и таким образом — гармонизация мира. Это подтверждается и самим устройством «вещества поэзии» — ритмами, рифмами, мелодикой. Даже верлибры, до которых я, честно говоря, не большой охотник, оказываются в сфере поэзии только если в них ясно ощущается строгая организованность. Поэзия — ритуальное, религиозное действие, если угодно.

Фундаментальные цели высокой русской поэзии всегда совпадали с целями христианства, если иметь в виду не общий эсхатологический финал — Страшный Суд и конец истории, — а пределы жизни каждого конкретного человека. Ведь эта цель и заключается в гармонизации взаимоотношений человека и мира, гармонизации прежде всего духовной — через понимание мира и примирение с миром. Бурные гении, бунтари Пушкин и Лермонтов прошли этот путь — от мятежа и неприятия к пониманию и примирению.

Бродский, прямо наследуя золотому и серебряному веку русской культуры, проходит этот путь на наших глазах. И в этом особенность и прелесть ситуации.

В 1958 году, в самом начале пути, он пишет стихотворение «Памятник Пушкину», и сразу после этого «Балладу о Лермонтове». И в том, и в другом случае отношение к гигантам почти интимное.

В 1962 году в «Стансах городу» он прямо соотнес себя с Лермонтовым:

Да не будет дано
умереть мне вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя.

Назвать Лермонтова в этом горьком и трогательном контексте «кривоногим мальчиком» (что соответствовало действительности) возможно было лишь ощущая роковую связанность с ним.

Юный Бродский прошел через все возможные влияния и ориентации, через все привязанности литературной молодежи конца пятидесятых — Лорка, Незвал,

джазовая культура, Багрицкий... Но краеугольные камни классической поэзии, обнаруженные им просто-напросто на уроках литературы, твердо проступили сквозь все — не как затверженные формальные ориентиры, а как угаданная коренная порода, «почва и судьба».

Молодой Бродский, воспринимавшийся читателями и слушателями как «новый поэт», вызывающе демонстрировал свою связь с Пушкиным. В 1961 году в «Шествии», в совершенно неподходящем, казалось бы, контексте, он дает подчеркнуто «пушкинский текст». Поскольку «Шествие» в России еще не опубликовано, то я позволю себе длинную цитату:

Волнение чернеющей листвы,
волненье душ и невшское волненье,
и запах загнивающей травы,
и облаков белесое гоненье,
и странная вечерняя тоска,
живущая и замкнуто и немо,
и ровное дыхание стиха,
нежданно посетившее поэму
в осенние недели, в октябре —
мне радостно их чувствовать и слышать,
и снова расставаться на заре,
когда светлеет облако над крышей
и посредине грязного двора
блестит вода, пролившаяся за ночь.
Люблю тебя, рассветная пора,
и облаков стремительную рваность
над непокрытой влажной головой,
и молчаливость окон над Невой,
где все вода вдоль набережных мчится
и вновь не происходит ничего,
и далеко, мне кажется, вершится
мой Страшный Суд, суд сердца моего.

Это ровное — пушкинское — дыхание, посетившее нервную, иногда до истерического крика, полную горечи и смятения мистерию, выдает ту полуосознанную еще цель, о которой только что шла речь. Это — островок гармонии, интонационный камертон, указание на ту задачу, которую поэт будет решать — для себя и для мира.

Дело не в том, чтобы обнаружить похожесть Бродского на русских классиков. Само по себе это ни о чем не говорит. Дело в том, чтобы увидеть в работе Бродского черты той фундаментальной духовной основы, на которой и существует русская культура.

В 1835 году Пушкин написал большое стихотворение «Странник» о человеке, осознавшем убийственное несовершенство мира и, главное, свое собственное несовершенство. От душевной муки и растерянности страдальца спасает ангел, представший ему в виде юноши с книгой:

Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь?» —
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,

Как от бельма врачом избавленный слепец.
 «Я вижу некий свет»,— сказал я наконец.
 «Иди ж,— он продолжал,— держись сего ты света,
 Пусть будет он тебе единственная мета,
 Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
 Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.

Лейтмотив последних лет пушкинской жизни — бегство, уход от низкой суеты, движение к «некоему свету». Так же как и лейтмотив последних десятилетий жизни Толстого. Так же как идея, быть может, ключевого стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».

Бродский же начал с того, чем кончали его духовные предшественники. Первое стихотворение, прославившее его, — «Пилигримы» — повествовало о паломниках, вечно идущих куда-то. Это стихотворение 1959 года задало один из ведущих внешних сюжетов Бродского — движение в пространстве среди хаоса предметов. Пространство раз и навсегда выдвинулось на первый план, оттеснив время. Поэтому невозможно говорить об «исторической тематике» стихов Бродского. Никакой истории как процесса в его стихах нет. Он живет в великом настоящем, объединившем времена, — наиболее убедительное свидетельство тому «Письма римскому другу» и «Двадцать сонетов к Марии Стюарт».

Этот принцип движения в пространстве как сюжетообразующий в значительной степени объясняет и рождение только Бродскому присущего приема шквального перечисления предметов, мелькающих перед взором движущегося наблюдателя. В «Пилигримах» этот прием был продемонстрирован впервые:

Мимо ристалищ, капищ,
 мимо храмов и баров,
 мимо шикарных кладбищ,
 мимо больших базаров,
 мира и горя мимо,
 мимо Мекки и Рима,
 синим солнцем палимы
 идут по земле пилигримы.

Прием был доведен до абсолюта в «Большой элегии Джону Донну» и огромном стихотворении «Пришла зима...». Он играет немалую роль в «Зофье», «Исааке и Аврааме», «Столетней войне» и многих поздних стихотворениях. Но изначально и сущностно он связан с идеей движения, бегства, странствия — сперва без определенной конечной цели.

В 1960 году было написано чрезвычайно важное по смыслу стихотворение «Сад» с такой декларацией:

Нет, уезжать! Пускай куда-нибудь
 меня влекут громадные вагоны.
 Мой дальний путь и твой высокий путь —
 теперь они тождественно огромны.
 Прощай, мой сад!..

Здесь уже есть мотив, который станет одним из главных для Бродского, — слитность индивидуальной судьбы и природного пространства мира.

Вскоре появится цикл стихотворений о всадниках, загадочно пересекающих пространство, предвещающих всадника из «Столетней войны».

Сущностью «пророческого» пласта русской литературы, к которому несомненно принадлежит Бродский, желает он того или не желает, предопределено стремление к максимуму — во всем. Этот всеобъемлющий максимализм, в высшей степени свойственный молодому Бродскому, стал едва ли не главной причиной, по которой советская жизнь оторвала его, и тот же принцип формировал поэтическую стилистику, характер литературных приемов.

У Бродского, как и у Толстого, все свершенное в зрелости отчетливо заявлено было в самом начале.

В «Пилигримах», кроме сказанного, уже названы два понятия, ставшие надолго символами поэзии Бродского, символами, сконцентрировавшими в себе смысл ведущей тенденции:

... звезды встают над ними
и хрипло кричат им птицы...

Звезды и птицы — символ «некоего света» в вышине, маяка, путеводной меты, и символ преодоления пространства, овладения той его областью, в которую человек не может проникнуть сам по себе, — овладения высотой, возможностью вертикального движения.

Роли, которую играют в стихах Бродского птицы, нет аналога в русской поэзии. Тут можно вспомнить разве метафорических ласточек Мандельштама, но у них принципиально иная функция.

«Большая элегия Джону Донну», занимающая совершенно особое место в поэтической жизни Бродского, родилась, вылупилась, как из яйца, из раннего стихотворения о птице-душе.

Теперь все чаще чувствую усталость,
Все реже говорю о ней теперь.
О промыслов души моей кустарность,
Веселая и теплая артель!

Каких ты птиц себе изобретаешь,
Кому их даришь или продаешь,
И в современных гнездах обитаешь,
И современным голосом поешь.

Вернись, душа, и перышко мне вынь.
Пускай о славе радио споет нам.
Скажи, душа, как выглядела жизнь,
Как выглядела с птичьего полета?

Покуда снег, как из небытия,
Плывет по незатейливым карнизам,
Рисуй о смерти, улица моя,
А ты, о птица, вскрикивай о жизни...

и т.д.

Главное сюжетное зерно «Большой элегии» здесь. Вплоть до значащих деталей:

Покуда снег летит на спящий дом,
покуда снег летит во тьму оттуда.

Собственно, весь монолог души Джона Донна в «Элегии» есть ответ на вопрос:

Скажи, душа, как выглядела жизнь,
как выглядела с птичьего полета?

Но за три года, что прошли между двумя этими стихотворениями, представления поэта чрезвычайно усложнились, и вряд ли он в 1960 году рассчитывал на ответ, который получил в 1963-м.

У Бродского в русской поэзии был только один предшественник в этом опасном стремлении видеть мир сверху и — весь. И, соответственно, понять его одним гигантским усилием — весь. И оттуда, с этой высоты, — судить. Этим предшественником был Лермонтов,* органические связи с коим Бродского еще не исследованы и не поняты. А это, быть может, его истинный предшественник и учитель.

В данном случае я имею в виду пролог к «Демону».

И над вершинами Кавказа
Изгнанник Рая пролетал,
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял.
И далеко внизу, чернея
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял...

Этот грандиозный пейзаж с птичьего полета отнюдь не самоценен — Лермонтов открывает нам пространство, достойное грядущей драмы — смертельного столкновения искушенного Зла, тяготеющего к добру и любви, и Невинности, бессознательно тяготеющей к мудрому Злу.

Кавказ для Лермонтова был квинтэссенцией мира вообще, сценой, где и разворачивалась мировая драма, движимая, соответственно, концентрированными страстями.

Лермонтовский «Демон» — трагедия невозможности примирения антагонистических мировых начал, как бы ни хотелось этого их носителям.

Через полтора столетия после Лермонтова Бродский сделал попытку увидеть пространство драмы с еще большей высоты. И попытка удалась.

Птица-душа и самого Джона Донна нарекает птицей:

Ты птицей был и видел свой народ
повсюду, весь...
Подобье птиц, он спит в своем гнезде...
Подобье птиц, душа его чиста...

У «Большой элегии» есть и еще один важный автоисточник — стихотворение 1962 года «Диалог», диалог человека с Богом о некоем умершем третьем, заканчивающийся так:

«Там он лежит с короной,
Там я его забыл».
«Неужто он был вороной?»
«Птицей, птицей он был».

* Пушкинское «Кавказ подо мною...» — явление иного порядка.

Эта метафора, пронизывающая стихи, начиная с самых ранних, имеет мощный экзистенциальный смысл. Птица обладает высокой степенью свободы за счет принципиально иного способа передвижения в пространстве. Птица обладает особой возможностью познания за счет способности видеть мир с высоты — целиком. Взгляд парящей в вышине птицы благодаря аккомодации зрения схватывает и самый общий план в его величии, и каждый предмет в отдельности.

На этом совмещении и построены «большие стихотворения» Бродского. В сочетании с принципом потока это и создает уникальность поэзии Бродского в контексте мировой литературы.

Птица-душа Джона Донна поднялась в немислимую высоту: «Ты Бога облетел и вспять помчался...». Но и ее свобода трагически ограничена.

Мир бесконечен. Предположения о том, что существует нечто еще более отдаленное и высокое, чем обиталище Бога, робко возникали в ранних стихах Бродского. Но в «Большой элегии», одном из самых философически дерзких созданий литературы, об этом сказано с еретической безоглядностью:

Но этот груз тебя не пустит ввысь,
откуда этот мир лишь сотня башен
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,
сей страшный суд почти совсем не страшен.
И климат там недвижим, в той стране,
Оттуда все как сон больной в истоме.
Господь оттуда — только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.

Прорыв выше Бога может дать свободу от страха страшного суда — это прорыв во внеэтическое существование, где грех должен отторгаться не страхом возмездия, но первобытной гармоничностью отношений. Ибо там, выше Бога, лежит абсолютное невременное пространство — утопия — девственная страна, ожидающая человека, отрешившегося от времени с его суетой.

Поля бывают. Их не пашет плуг.
Года не пашет. И века не пашет.
Одни леса стоят стеной вокруг,
и только дождь в траве огромной пляшет.
Тот первый дровосек, чей тощий конь
вбежит туда, плутая в страхе чащей,
на сосну влезши, вдруг узрит огонь
в своей долине, там, вдали лежащей.
Все, все вдали. А здесь неясный край.
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.
Здесь так светло. Не слышен псиний лай.
И колокольный звон совсем не слышен.
И он поймет, что все — вдали. К лесам
он лошадь повернет движеньем резким.
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам
и бедный конь — все станет сном библейским.

Эта картина удивительным образом соотносится с русской народной утопией — мечтой о Беловодье, которую органически ощущал и описал в «Войне и мире»

Толстой: «В жизни крестьян этой местности были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной русской жизни, причины и значение которых бывают необъяснимы для современников... Сотни крестьян... стали вдруг распродавать свой скот и уезжать семействами куда-то на юго-восток. Как птицы летят куда-то за моря, стремились эти люди с женами и детьми туда, на юго-восток, где никто из них не был... Бежали и ехали и шли туда, на теплые реки. Многие... с голода и холода умерли на дороге; многие вернулись сами...»

Птица как символ способа существования была так важна молодому Бродскому потому еще, что именно в птицах живет мощный инстинкт, ведущий их в пространстве — в их птичью утопию — «на теплые реки».

Этот лесоруб из «Большой элегии» — двойник толстовских крестьян, влекомых птичьим инстинктом к перелету, как и они, не осмелившийся идти до конца, свернувший, вернувшийся и ставший бесплотным персонажем утопического мифа — «сном библейским».

У Толстого имеется и еще прямой аналог смысловому сюжету «Большой элегии» — груз «тяжелых, как цепи, чувств, мыслей», созданный духовными борениями на уровне брэнной жизни, мешает Донну вырваться в абсолютную свободу: «Ты птицой был... Но этот груз тебя не пустит ввысь».

У Толстого незадолго до начала его проповеди в записной книжке: «Есть (люди. — Я.Г.) с большими сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется с сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко».

В поэтическом массиве, созданном Бродским, проходит пласт, который сам по себе оправдал бы десятилетия духовного труда. Странно, но исследователи не воспринимают его как нечто цельное. Между тем именно в этом пласте обнаруживается единый смысл работы Бродского в культуре, тот вектор, по которому он следует — хотя стилистически и по-иному — до сего дня. Это циклопический цикл, сравнимый по «величию замысла» (выражение Бродского) и по сложности расшифровки разве что с «пророческими поэмами» Уильяма Блейка. Цикл начинается «Большой элегией Джону Донну», затем следуют «большие стихотворения» «Исаак и Авраам», незавершенная «Столетняя война», «Пришла зима, и все, кто мог лететь...» и, наконец, «Горбунов и Горчаков». Эти тысячи строк объединены общей метрикой, общим метафорическим рядом, общими структурными приемами, но — главное — имеют общий религиозно-философский фундамент. Как и у Блейка «пророческих поэм», как у Толстого после 1879 года, — это гигантский еретический эпос, к которому в качестве эпиграфа можно взять строки из тех же «Пилигримов»:

И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
... И, значит, остались только
иллюзия и дорога.

Детское богоборчество «Пилигримов» было изжито очень быстро. Порыв взлететь выше Бога в «Большой элегии» через «библейский сон» «Исаака и Авраама», кровавый апокалипсис «Столетней войны» заканчивается мучительным христианством «Горбунова и Горчакова», странным мученичеством узника сумасшедшего дома — Горбунова, постоянно возвращающегося в прямых словах и проговорах к участи Христа.

Все пять «больших стихотворений» цикла, написанных в пятилетие от 1963 до 1968 года, переплетены между собой — идет постоянное перетекание поэтического вещества. Стихотворения перебрасываются репликами, подают друг другу условные знаки, полные смысла.

Та пространственная утопия, которая возникает в «Большой элегии», снова предстает перед нами в «Исаак и Авраам» — это страна, куда ангел, оставивший руку Авраама, зовет прошедшего искус патриарха, та страна, которую видела со своей невысказанной высоты птица-душа Джона Донна:

Еще я помню: есть одна гора,
 В ее подножьи есть ручей, поляна.
 Оттуда пар ползет наверх с утра.
 Всегда шумит на склоне роща ряно.
 Внизу трава из руслу шумно пьет.
 Приходит ветер — роща быстро гнется.
 Ее листва в сырой земле гниет,
 Потом весной опять наверх вернется...
 И сонмы звезд блестят во тьме ночей,
 небесный свод покрывши часто, густо.
 В густой траве шумит волной ручей,
 и пар в ночи растет по форме руслу.

«Большое стихотворение» «Пришла зима...» — продолжение и контраст «Большой элегии». Если «Большая элегия» — апофеоз сна, настолько близкого к смерти, что душа существует отдельно от тела, апофеоз тревожного покоя и пугающей неподвижности, то «Пришла зима...» — взорванный покой, зимний апокалипсис, разрушение мира, лихорадочное описание первой зимней бури, насильственно уносящей из рощи птиц — куда-то, «на теплые реки».

Они исчезли, воздух их сокрыл,
 и лес ночной сейчас им быстро дышит,
 хоть сам почти не слышит шумных крыл;
 они одни вверху друг друга слышат.
 Они одни... и ветер вдаль, свистя,
 верней — крича, холмов поверх лесистых,
 швыряя вниз, толкая в грудь, крутя,
 несет их всех — охапку тусклых листьев.
 Раскрыты клювы, перья, пух летит,
 опоры ищут крылья, перья твердой,
 но лучше ветер в спины им свистит...

Но есть тут и двойник спящего Донна и — одновременно — прикованного к сумасшедшему дому Горбунова — скворец, не могущий или не желающий улететь, пытающийся спастись от наступающего холода совершенно иным — «духовным» — способом, магической силой памяти. Птица удерживает в памяти лето, как Горбунов — море, то есть свободу. Птица гонит из сознания страшную реальность, разрывающуюся во времени:

Прочь, прочь, ночной простор (и блеск огня),
 прочь, прочь, звезда над каждой черной кроной,
 прочь, прочь, закат, исчезни, сумрак дня,

прочь, прочь, леса, обрывы, грач с вороной.
 Прочь, прочь, холмы, овраги, тень куста,
 прочь, прочь, лиса, покиньте, волки, память...

Горбунов также отказывается воспринимать реальность бедлама — «покиньте, прочь, память», — вытесняя ее видением моря, за что его мучивает — убивает — Горчаков.

Человек, птица, куст (в «Исааке и Аврааме») — все они равны в едином живом пространстве, над которым горит звезда — «некий свет»...

Прежде чем говорить о звездах, вспомним о том аналоге птицы — Божьей птице, которая есть соединительное звено между птицей-человеком, птицей-душой и — «неким светом» — звездой.

В «Большой элегии» «спят ангелы» вместе со всем миром, молчит архангел Гавриил, к которому зывает во сне Донн. Но в «Исааке и Аврааме» — как и должно — ангел, являющийся в роковую минуту, переворачивает сюжет и рассказывает Аврааму о стране обетованной. В «Столетней войне» ангел — равноправный с главным героем персонаж, появляющийся в роковые моменты сюжета. В «Столетней войне» ангел фантазмагоричен — герой в безумном сне на поле недавнего сражения выкапывает птицу-ангела из страшной земной глубины: «И вот он дерн пронзил своим крылом. Испуганно крылом взмахнула птица...».

И этот «белый ангел плод земли» взмывает над заваленными трупами полем:

Гонец взглянул наверх и в страхе замер.
 Как прежде белый, только раза в три
 чем прежде, больше, вился в небе ангел.
 Так значит, он пришел узреть Конец.
 Так значит, не насытил взгляд Началом.
 И, лук схватив, что бросил в снег мертвец,
 гонец уж сам не слышал, как вскричал он:
 «Беги же к черту!» И пустил стрелу...

В «Пришла зима...» среди сокрушительного безжалостного беснования стихии побок ожидается явление не вестника-ангела, но Господа:

Того гляди, с пути собьется Бог
 и в поздний час в Полесье к нам нагрянет.

И апофеоз темы, объясняющий ее настойчивое бытование в эпосе, находим в «Горбунове и Горчакове», где так или иначе пересекаются все нити, все мотивы, все сюжеты-метафоры предыдущих четырех «больших стихотворений».

Отчаянный ночной монолог Горбунова в бедламе заканчивается так:

А ежели мне впрямь необходим
 здесь слушатель, то, Господи, не мешкай:
 пошли мне небожителя. Над ним
 ни болью не возвышусь, ни усмешкой,
 поскольку он для них неуязвим.
 По мне, холь оборачиваться решкой,
 то пусть не Горчаков, а херувим
 возносится над грязною ночлежкой
 и кружит над рыданиями и слезкой
 прямым благословением твоим.

Посещение небожителем земли — не просто акт утешения. Это восстановление единства мира. Соединение высоты и бездны. Этот мотив в несколько пантеистическом варианте впервые появился у Бродского еще в 1959 году в «Белых стихах в память о жене соседа», мотив белизны и снега, соединяющего небо с землей, белого снега, спускающегося с небес подобно белому ангелу.

В «Большой элегии» это представление сформулировано с полной определенностью:

... летит во тьму, не тает,
разлуку нашу здесь сшивая, снег,
и взад-вперед игла, игла летает...

Небесная игла сшивает «разлуку» спящего тела и парящей в небе души:

Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.
Со всех концов. Уйдет, вернется снова.
Еще рывок! И только небосвод
во мраке иногда берет иглу портного...

Дисгармоническое, демоническое начало разъедает, разламывает мир. Мир распадается на хаотические сочетания предметов и ситуаций, вступающих в смертельно опасные сочетания. И спасение мира и в мире — увидеть «некий свет», уловить дорогу, ведущую в «элизиум пространства», где объединяются дух и плоть.

Звезда у Бродского — главный аналог «некоего света» из пушкинского «Странника».

«Большая элегия», горько повествующая о разорванности мира, робости и отягощенности человеческого духа, завершается надеждой:

Того гляди и выглянет из туч
Звезда, что столько лет твой мир хранила.

В «Исааке и Аврааме» два света — пламя свечи, горящее перед путниками от начала и до конца «большого стихотворения», и, возникающая в страшный момент и предвещившая появление ангела-спасителя звезда. Эта путеводная свеча: «Горит свеча всего в одном окне» — слишком напоминает «Большую элегию»: «Господь оттуда только свет в окне, Туманной ночью в самом дальнем доме».

«Пришла зима...» — в момент умиротворения беснующейся стихии:

Снег, снег летит. Вокруг бело, светло.
Одна звезда горит над спящей пашней.

В «Горбунове и Горчакове» с первых страниц звезды, звездное небо не сходят с уст двух друзей-врагов, этих новых князя Мышкина и Рогожина, запертых в сумасшедшем доме:

«Ты ужинал?» «Да, миска киселя
и овощи». «Ну, все повеселее.
А что снаружи?» «Звездные поля».
«Смотрю, в тебе замашки Галилея».

«Замашки Галилея», тяготение к «некому свету» губят и спасают Горбунова. Звезда — персонаж «Горбунова и Горчакова» в не меньшей, быть может, степени, чем явные герои, ибо Горбунов одержим в этом концентрированном мире горя и ужаса — бедламе — устремлением «на теплые реки», в Беловодье.

Разумеется, тут сразу вспоминается звезда тридцатилетнего, уже рождественского цикла Бродского. Но этим дело не исчерпывается.

В «Горбунове и Горчакове» есть четверостишие-знак — указующий перст,— обращающий нас к источнику:

«Восходит над равниною звезда
и ищет собеседника поярче».
«И самая равнина, сколько взор
охватывает, с медленностью почты
поддерживает ночью разговор».

Это — трансформированный, но явный вариант лермонтовских строк:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу.
И звезда с звездою говорит.

В стихах Бродского множество скрытых «лермонтовских знаков», но этот — особенно важен, ибо в не меньшей степени, чем к пушкинскому «Страннику» и толстовской мечте, утопическая идея «больших стихотворений» — эпопеи Бродского, — мечта о «теплых реках», о царстве блаженного пространства в неподвижном времени приводит нас к Лермонтову. И, быть может, нигде так полно и определенно не выразилась эта идея, как в не раз цитированном стихотворении:

Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

Блаженное пространство, осененное листвою, — это доведенное до максимума представление о той стране, которую видит со своей «непостижимой вышины» птица-душа Джона Донна, в которую ангел зовет Авраама, тех «морских краев», которых жаждет Горбунов в снах-избавителях.

Сон как особая форма существования играет огромную роль во всем эпосе Бродского. Но именно в «Горбунове и Горчакове» сон есть дорога к свободе, сон — крепость личности, убежище от страшного мира — «враждебной среды» (формула Горбунова).

Эти черты особой христианско-пантеистической утопии у Лермонтова тонко, хотя и с несколько иной точки зрения, уловил еще Василий Розанов, заметивший, в частности, в «Предсмертных мыслях»: «...«наши поля» суть «загробные поля», «загробные нивы». Тогда конечно:

Когда волнуется желтеющая нива
.....
То в небесах я вижу Бога
.....»

Разумеется, «блаженная страна» эпопеи — пространство по ту сторону «суеты сует», в некотором роде — «загробные нивы», обретенные не через смерть — «не тем холодным сном могилы», — но через побег из пространства низкого, неодухотворенного. И в то же время Розанов слишком вольно интерпретировал лермонтовский текст. «Когда волнуется желтеющая нива» — это и вполне земной природный эдем, многократно и подробно описанный Бродским.

В «Горбунове и Горчакове», — грандиозном финале эпопеи, — сон есть дорога в страну вечной свободы, которая — в неизменных традициях русской поэзии — символизируется морем. Орел в пушкинском «Узнике» зовет «туда, где синее море» — «свободная стихия».

Подконвойный Мандельштам писал: «На вершок бы мне синего моря...» И в следующих строчках вспоминал Пушкина.

Узнику Горбунову снится море. Но море постоянно — в том или ином варианте — присутствует во всех частях эпопеи. В «Исааке и Аврааме» оно возникает совершенно неожиданно в финальной главе:

Горит свеча и виден край листа.
Засовы, как вода, огонь обстали.
Задвижек волны, темный вал щеколд,
на дне — ключи — медузы, в мертвом хоре
поют крюки, защелки, цепи, болт;
все это — только море, только море.

Свеча — огонь, горящий посреди моря, захлестнувшего, объявшего мир в «Исааке и Аврааме», повторяется, в слегка трансформированном виде, в «Пришла зима» — в пространстве совершенно сухопутного пейзажа. Морем — объединяющей мир стихией — завершается «Столетняя война».

Предпоследняя, решающая по смыслу, глава «Горбунова и Горчакова» называется «Разговоры о море» и начинается так:

«Твой довод мне бессмертие сулит.
Но я, твоим пророчествам на горе,
уже наполовину инвалид.
Как снов моих прожектор в коридоре,
твой светоч мою тьму не веселит...
Но это не в укор и не в укор
все дело. То есть, пусть его горит!
В открытом и смежающемся взоре
все время что-то мощное бурлит,
как будто море. Думаю, что море».

Все сошлось в этих предсмертных словах Горбунова — та же свеча — светоч — и море, та же, что в «Исааке и Аврааме» и «Пришла зима» тьма над морем, и — сон. В непереносимой неволе, в мире, который отторгает его, Горбунов идет к морю — свободе через сон — смерть. «Сон — выход из потемок... А человек есть выходец из снов». Ликующе настаивая на том, что сон реальнее яви, а стало быть, дух доминирует над плотью, Горбунов провоцирует страдающего и ревнующего Горчакова, человека плоти, и — погибая — освобождается. И это — конец утопии.

«Горбунов и Горчаков», вся великая эпопея 1963—1968 годов, вообще поэзия

Бродского многомысленна, многослойна, являет нам сложнейший мир идей, чувств, предчувствий. (При том, что есть в ней пласт прозрачной, «неслыханной простоты» лирики.) То, о чем шла речь в этом беглом очерке, — лишь один из возможных вариантов интерпретации. Но — необходимый и значительный вариант.

Бурный Бродский — с его невероятно интенсивной интонацией, «рвущейся в клочья страстью», сарказмом и самоиронией, — весь «российский период» своей работы отыскивал путь к гармоническому миру, в «блаженную страну». Это был путь пушкинского «Странника», это была страна, которая грезилась Лермонтову.

Перемены, происшедшие в мироощущении и мироосмыслении пятого Нобелевского лауреата, — существенны. В «Последнем крике ястреба» — в 1975 году — он скорбно завершил историю птицы-души, начатую двенадцать лет назад. Птица, взлетевшая в эмпирей, охватившая взглядом всю землю и погибшая от избытка высоты, — то, что казалось «выше Бога», оказалось — выше жизни, — продолжение и финал полета птицы-души из «Большой элегии».

В «Новом Жюль Верне» — 1976 год — иронически снимается порыв к морю—свободе.

К середине семидесятых годов с поисками «блаженной страны» было покончено. Однако это не означало сдачу, опустошение, отказ от жребия. Это означало смену средств, но не цели.

В рождественском стихотворении 1988 года Бродский писал:

В пустыне, подобранной небом для чуда
по принципу сходства, случившись ночлегом,
они жгли костер. В заметаемой снегом
пещере, своей не предчувствуя роли,
младенец дремал в золотом ореоле
волос, обретавших стремительно навыв
свеченья — не только в державе чернявых,
сейчас, — но и вправду подобно звезде,
покуда земля существует: везде.

Теперь мы понимаем, что означали в 1965 году строки из «большого стихотворения» «Пришла зима...»:

Снег, снег летит. Вокруг бело, светло.
Одна звезда горит над спящей пашней.

И в конце восьмидесятых все осталось — магическая стихия снега «пустыня внемет Богу», «некий свет» — нимб младенца Христа «подобно звезде» горит и указывает путь — «Покуда земля существует: везде».

В 1989 году Бродский пишет «Облака» — сложный вариант лермонтовских «Туч» и особенно монолога Демона:

Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.

с прямым указанием:

ваши стада
движутся без
шума...

Необходимая человеческому духу утопия — место отдохновения после тысячелетних бурь и мук истории — принимает новые очертания. Просто теперь мы встречаемся с новым уровнем мужества перед лицом жизни — «мужества быть»:

Человеку повсюду
мнится та перспектива, в которой он
пропадает из виду. И если он слышит звон,
то звонят по нему: пьют, бьют и сдают посуду.
Поэтому лучше бесстрашие!

В «Примечаниях папоротника» 1989 года Бродский отсылает нас, цитируя знаменитую формулу Джона Донна — «Не спрашивай, по ком звонит колокол...», к «Большой элегии», с которой когда-то началась эпопея — поиски «блаженной страны».

Все идет своим чередом.

Поэт меняется, оставаясь прежним. И неизменным остается гипнотическое воздействие на наше смятенное сознание поэзии, обращенной и к Богу, и к человеку, объединяющей небо и бездну земли:

...раскрой закром, откуда льются звезды,
Раскрой врата — и слышен зимний скрип,
и рваных туч бегут поспешно стаи.
Позволь узреть Весы, Стрельца и Рыб,
Стрельца и Рыб... и Рыб... Хотя реки стали.
Врата скрипят, и смотрит звездный мир
на точки изб, что спят в убранстве снежном,
и чуть дрожит, хоть месяц мир затмил,
свой негатив узрев в пространстве смежном.

*Я.Гордин
июнь 1992*

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Евгению Рейну, с любовью.

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой
пловец в несчастье случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый Год, под воскресенье,
плывет красotka записная,
своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою;
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Твой Новый Год по темно-синей
волне среди моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

28 декабря 1961

ОТ ОКРАИНЫ К ЦЕНТРУ

Вот я вновь посетил
 эту местность любви, полуостров заводов,
 рай речных пароходов,
 я опять прошептал:
 вот я снова в младенческих ларах.
 Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок.

Предо мною река
 распласталась под каменно-угольным дымом,
 за спиною трамвай
 прогремел на мосту невредимом,
 и кирпичных оград
 просветлела внезапно угрюмость.
 Добрый день, вот мы встретились, бедная юность.

Джаз предместий приветствует нас,
 слышишь трубы предместий,
 золотой диксиленд
 в черных кепках прекрасный, прелестный,
 не душа и не плоть —
 чья-то тень над родным патефоном,
 словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном

В ярко-красном кашне
 и в плаще в подворотнях, в парадных
 ты стоишь на виду

на мосту возле лет безвозвратных,
прижимая к лицу недопитый стакан лимонада,
и ревет позади дорогая труба комбината.

Добрый день. Ну и встреча у нас:
До чего ты бесплотна!
Рядом новый закат
гонит вдаль огневые полотна.
До чего ты бедна! Столько лет,
а промчались напрасно.
Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего ты прекрасна!

По замерзшим холмам
молчаливо несутся борзые,
среди красных болот
возникают гудки поездные,
на пустое шоссе,
пропадая в дыму редколесья,
вылетают такси, и осины глядят в поднебесье.

Это наша зима.
Современный фонарь смотрит мертвенным оком,
предо мною горят
ослепительно тысячи окон.
Возвышаю свой крик,
чтоб с домами ему не столкнуться:
это наша зима все не может обратно вернуться.

Не до смерти ли, нет,
мы ее не найдем, не находим.
От рожденья на свет
ежедневно куда-то уходим,
словно кто-то вдали
в новостройках прекрасно играет.
Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.

Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
и, полны темноты,
и полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.

Как легко нам дышать,
оттого, что, подобно растению,
в чьей-то жизни чужой
мы становимся светом и тенью
или больше того —
от того, что мы все потеряем
отбегая навек, мы становимся смертью и раем.

Вот я вновь прохожу
в том же светлом раю — с остановки налево,
предо мною бежит,
закрываясь ладонями, новая Ева,
ярко-красный Адам
вдалеке появляется в арках,
невский ветер звенит заунывно в развешанных арфах.

Как стремительна жизнь
в черно-белом раю новостроек.
Обвивается змей,
и безмолвствует небо героик,
ледяная гора
неподвижно блестит у фонтана,
вьется утренний снег, и машины летят неустанно.

Неужели не я,
освещенный тремя фонарями,
столько лет в темноте
по осколкам бежал пустырями,
и сиянье небес

у подъемного крана клубилось?
 Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось.

Кто-то новый царит,
 безымянный, прекрасный, всеильный,
 над отчизной горит,
 разливается свет темно-синий,
 и в глазах у борзых
 мельтешат фонари — по цветочку,
 кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку.

Значит, нету разлук.
 Значит, зря мы просили прощенья
 у своих мертвецов.
 Значит, нет для зимы возвращенья.
 Остается одно:
 по земле проходить бестревожно.
 Невозможно отстать. Обгонять — только это, возможно.

То, куда мы спешим,
 этот ад или райское место,
 или попросту мрак,
 темнота, это все неизвестно,
 дорогая страна,
 постоянный предмет воспеванья,
 не любовь ли она? Нет, она не имеет названья.

Это — вечная жизнь:
 паразитительный мост, неумолчное слово,
 проплыванье баржи,
 оживленье любви, убиванье былого,
 пароходов огни
 и сиянье витрин, звон трамваев далеких,
 плеск холодной воды возле бровок твоих вечношироких.

Поздравляю себя
 с этой ранней находкой, с тобою,

поздравляю себя
с удивительно горькой судьбою,
с этой вечной рекой,
с этим небом в прекрасных осинах,
с описанием утрат за безмолвной толпой магазинов.

Не жилец этих мест,
не мертвец, а какой-то посредник,
совершенно один
ты кричишь о себе напоследок:
никого не узнал,
обознался, забыл, обманулся,
слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.

Слава Богу, чужой.
Никого я здесь не обвиняю.
Ничего не узнать.
Я иду, тороплюсь, обгоняю.
Как легко мне теперь
оттого, что ни с кем не расстался.
Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.

Поздравляю себя!
Сколько лет проживу, ничего мне не надо.
Сколько лет проживу,
сколько дам за стакан лимонада.
Сколько раз я вернусь —
но уже не вернусь — словно дом запираю,
сколько дам я за грусть от кирпичной трубы и собачьего лая.

* * *

Огонь, ты слышишь, начал угасать.
А тени по углам — зашевелились.
Уже нельзя в них пальцем указать,
прикрикнуть, чтоб они остановились.
Да, воинство сие не слышит слов.
Построилось в каре, сомкнулось в цепи.
Бесшумно наступает из углов,
и я внезапно оказался в центре.
Все выше снизу взрывы темноты.
Подобны вопросительному знаку.
Все гуще тьма слетает с высоты,
до подбородка, комкает бумагу.
Теперь исчезли стрелки на часах.
Не только их не видно, но не слышно.
И здесь остался только блик в глазах,
застывших неподвижно. Неподвижно...
Огонь угас. Ты слышишь: он угас.
Горячий дым под потолком витает.
Но этот блик — не покидает глаз.
Вернее, темноты не покидает.

1962

БОЛЬШАЯ ЭЛЕГИЯ ДЖОНУ ДОННУ

Джон Донн уснул, уснуло все вокруг,
уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,
ночник, белье, шкафы, стекло, часы,
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,
среди бумаг, в столе, в готовой речи,
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле
остывшего камина, в каждой вещи.
В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях,
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,
опять в тазу, в распятьях, в простынях,
в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.
Уснуло все. Окно. И снег в окне.
Соседней крыши белый скат. Как скатерть
ее конек. И весь квартал во сне,
разрезанный оконной рамой насмерть.
Уснули арки, стены, окна, все.
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,
замки, засовы, их ключи, запоры.
Нигде не слышен шепот, шорох, стук.

Лишь снег скрипит. Все спит. Рассвет не скоро.
Уснули тюрьмы, замки. Спят весы
среди рыбной лавки. Спят свиные туши.
Дома, задворки. Спят целные псы.
В подвалах кошки спят, торчат их уши.
Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.
Спит парусник в порту. Вода со снегом
под кузовом его во сне сипит,
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.
И берег меловой уснул над морем.
Весь остров спит, объятый сном одним.
И каждый сад закрыт тройным запором.
Спят клены, сосны, грабы, пихты, ель.
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.
Лисицы, волк. Залез медведь в постель.
Наносит снег у входов нор сугробы.
И птицы спят. Не слышно пенья их.
Вороний крик не слышен, ночь, совиный
не слышен смех. Простор английский тих.
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.
Уснуло все. Лежат в своих гробах
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях
живые спят в морях своих рубах.
Поодиночке. Крепко. Спят в объятых.
Уснуло все. Спят реки, горы, лес.
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.
Лишь белый снег летит с ночных небес.
Но спят и там, у всех над головою.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт
во сне святыми — к их стыду святому.
Геенна спит и Рай прекрасный спит.
Никто не выйдет в этот час из дому.
Господь уснул. Земля сейчас чужда.
Глаза не видят, слух не внемлет боле.
И дьявол спит. И вместе с ним вражда
заснула на снегу в английском поле.

Спят всадники. Архангел спит с трубой.
 И кони спят, во сне качаясь плавно.
 И херувимы все — одной толпой,
 обнявшись, спят под сводом церкви Павла.
 Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
 Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
 найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
 равно тихи, лежат в своих силлабах.
 И каждый стих с другим, как близкий брат,
 хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
 Но каждый так далек от райских врат,
 так беден, пуст, так чист, что в них — единство.
 Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
 Хореи спят, как стражи, слева, справа.
 И спит виденье в них летейских вод.
 И крепко спит за ним другое — слава.
 Спят беды все. Страдания крепко спят.
 Пороки спят. Добро со злом обнялось.
 Пророки спят. Белесый снегопад
 в пространстве ищет черных пятен малость.
 Уснуло все. Спят крепко стопы книг.
 Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.
 Спят речи все, со всею правдой в них.
 Их цепи спят. Чуть-чуть звенят их звенья.
 Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.
 Их слуги злые. Их друзья. Их дети.
 И только снег шуршит во тьме дорог.
 И больше звуков нет на белом свете.

Но, чу! Ты слышишь — там, в холодной тьме,
 там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.
 Там кто-то предоставлен всей зиме.
 И плачет он. Там кто-то есть во мраке.
 Так тонок голос! Тонок, впрямь игла.
 А нити нет... И так он одиноко
 плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...
 Сшивая ночь с рассветом... Так высоко!
 «Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,

возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,
 любви моей? Во тьме идешь домой.
 Не ты ль кричишь во мраке?» — Нет ответа.
 «Не вы ль там, херувимы? Грустный хор
 напомнило мне этих слез звучанье.
 Не вы ль решились спящий мой собор
 покинуть вдруг. Не вы ль? Не вы ль?» — Молчанье.
 «Не ты ли, Павел? Правда, голос твой
 уж слишком огрублен суровой речью.
 Не ты ль поник во тьме седой главой
 и плачешь там?» — Но тишь летит навстречу.
 «Не та ль во тьме прикрыла взор рука,
 которая повсюду здесь маячит?
 Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,
 но слишком уж высокий голос плачет».
 Молчанье. Тишь. — «Не ты ли, Гавриил,
 подул в трубу, а кто-то громко лает?
 Но что ж лишь я один глаза открыл,
 а всадники своих коней седлают.
 Всё крепко спит. В объятых крепкой тьмы.
 А гончие уж мчат с небес толпою.
 Не ты ли, Гавриил, среди зимы
 рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?»

«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.
 Здесь я одна скорблю в небесной выси
 о том, что создала своим трудом
 тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
 Ты с этим грузом мог вершить полет
 среди страстей, среди грехов, и выше.
 Ты птицей был и видел свой народ
 повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.
 Ты видел все моря, весь дальний край.
 И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.
 Ты видел также явно светлый Рай
 в печальнейшей — из всех страстей — оправе.
 Ты видел: жизнь, она как остров твой.

И с Океаном этим ты встречался:
со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.
Ты Бога облетел и вспять помчался.
Но этот груз тебя не пустит ввысь,
откуда этот мир — лишь сотня башен
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,
сей страшный суд почти совсем не страшен.
И климат там недвижим, в той стране.
Оттуда всё как сон больной в истоме.
Господь оттуда — только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.
Поля бывают. Их не пашет плуг.
Года не пашет. И века не пашет.
Одни леса стоят стеной вокруг,
и только дождь в траве огромной пляшет.
Тот первый дровосек, чей тощий конь
вбежит туда, плутая в страхе чащей,
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь
в своей долине, там, вдали лежащей.
Всё, всё вдали. А здесь неясный край.
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.
Здесь так светло. Не слышен псиний лай,
и колокольный звон совсем не слышен.
И он поймет, что всё — вдали. К лесам
он лошадь повернет движеньем резким.
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам
и бедный конь — всё станет сном библейским.

Ну вот, я плачу, плачу, нет пути.
Вернуться суждено мне в эти камни.
Нельзя прийти туда мне во плоти.
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,
в сырой земле забыв навек, на муку
бесплодного желанья плыть вослед,
чтоб сшить своюю плотью, сшить разлуку.
Но чу! пока я плачем твой ночлег

смущаю здесь, — летит во тьму, не тает,
 разлуку нашу здесь сшивая, снег,
 и взад-вперед игла, игла летает.
 Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн.
 Лежишь один, и спишь в шкафах посуда,
 покуда снег летит на спящий дом,
 покуда снег летит во тьму оттуда».

Подобье птиц, он спит в своем гнезде,
 свой чистый путь и жажду жизни лучшей
 раз навсегда доверив той звезде,
 которая сейчас закрыта тучей.
 Подобье птиц. Душа его чиста,
 а светский путь, хотя, должно быть, грешен,
 естественней вороньего гнезда
 над серую толпой пустых скворешен.
 Подобье птиц, и он проснется днем.
 Сейчас лежит под покрывалом белым,
 покуда сшито снегом, сшито сном
 пространство меж душой и спящим телом.
 Уснуло всё. Но ждут еще конца
 два-три стиха и скалят рот щербато,
 что светская любовь — лишь долг певца,
 духовная любовь — лишь плоть аббата.
 На чье бы колесо сих вод ни лить,
 оно все тот же хлеб на свете мелет.
 Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
 то кто же с нами нашу смерть разделит?
 Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.
 Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.
 Еще рывок! И только небосвод
 во мраке иногда берет иглу портного.
 Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.
 Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.
 Того гляди и выглянет из туч
 Звезда, что столько лет твой мир хранила.

7 марта 1963

ИСААК И АВРААМ

М.Б.

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
 «Сейчас иду». — Ответ средь веток мокрых
 ныряет под ночным густым дождем,
 как быстрый плот — туда, где гаснет окрик.

По-русски Исаак теряет звук.
 Ни тень его, ни дух (стрела в полете)
 не ропщут против буквы вместо двух
 в пустых устах (в его последней плоти).
 Другой здесь нет — пойдя ищи-свищи.
 И этой также — капли, крошки, малость.
 Исак вообще огарок той свечи,
 что прежде Исааком всеми звалась.
 И звук вернуть возможно — лишь крича:
 «Исак! Исак!» — и эхо справа, слева:
 «Исак! Исак!» — и в тот же миг свеча
 колеблет ствол, и пламя рвется к небу.

Совсем иное дело — Авраам.
 Холмы, кусты, врагов, друзей составить
 в одну толпу, кладбища, ветки, храм —
 и всех затем к нему воззвать заставить —
 ответа им не будет. Будто слух
 от мозга заслонился стенкой красной
 с тех пор, как он утратил гласный звук
 и странно изменился шум согласной.
 От сих потерь он, вместо града стрел,

в ответ им шлет молчанье горла, мозга.
Здесь не свеча — здесь целый куст сгорел.
Пук хвороста. К чему здесь ведра воска?

«Идем же, Исаак». — «Сейчас иду». —
«Идем быстрее». Но медлит тот с ответом.
«Чего ты там застрял?» — «Постой». — «Я жду».
(Свеча горит во мраке полным светом.)
«Идем. Не отставай». — «Сейчас, бегу».
С востока туч ползет немое войско.
«Чего ты встал?» — «Глаза полны песку».
«Не отставай». — «Нет, нет». — «Иди, не бойся».

В пустыне Исаак и Авраам
четвертый день пешком к святому месту
идут одни по всем пустым холмам,
что зыблются сродни (под ними) тесту.
Но то песок. Один густой песок.
И в нем трава (коснись — обрежешь палец),
чей корень — если б был — давно иссох.
Она бредет с песком, трава-скиталец.
Ее ростки имеют бледный цвет.
И то сказать — откуда брать ей соки?
В ней, как в песке, ни капли влаги нет.
На вкус она — сродни лесной осоке.
Кругом песок. Холмы песка. Поля.
Холмы песка. Нельзя их счесть, измерить.
Верней — моря. Внизу, на дне, земля.
Но в это трудно верить, трудно верить.
Холмы песка. Барханы — имя им.
Пустынный свод небес кружит над ними.
Шагает Авраам. Вослед за ним
ступает Исаак в простор пустыни.
Садится солнце, в спину бьет отца.
Кружит песок. Прибавил ветер скорость.
Холмы, холмы. И нету им конца.
«Сынок, дрова с тобою?» — «Вот он, хворост».

Волна пришла и вновь уходит вспять,
как долгий разговор смолкает сразу,
от берега отняв песчинку, пядь —
остатком мысли — нет, остатком фразы.
Но здесь нет берега, только мелкий след
двух путников рождает сходство с кромкой
песка прибрежной, — только сбоку нет
прибрежной пенной ленты — нет, хоть скромной.
Нет, здесь валы темны, светлы, черны.
Здесь море справа, слева, сзади, всюду.
И путники сии — челны, челны,
волна глотает след, вздымает судно.
«А трут, отец, с тобою?» — «Вот он, трут».
Не видно против света, смутно эдак...
Обоих их склоняя, спины трут
сквозь ткань одежд вязанки темных веток.
Но Авраам несет еще и мех
с густым вином, а Исаак в дорогу,
колодцы встретив, воду брал из всех.
На что они сейчас похожи сбоку?
С востока туча застит свод небес.
Выдергивает ветер пики, иглы.
Зубчатый фронт, как будто черный лес
над Исааком, все стволы притихли.
Просветы гаснут. Будто в них сошлись
лесные звери — спины свет закрыли.
Сейчас они — по вертикали вниз
помчат к пескам, раскинут птицы крылья.
И лес растет. Вершины вверх ползут...
И путники плывут, как лодки в море.
Барханы их внизу во тьму несут.
Разжечь костер им здесь придется вскоре.

Еще я помню: есть одна гора.
Там есть тропа, цветущих вишен арка
висит над ней, и пар плывет с утра:
там озеро в ее подножья, *largo*

волна шуршит, и слышен шум травы.
Тропа пуста, там нет следов часами.
На ней всегда лежит лишь тень листвы,
а осенью — ложатся листья сами.
Крадется пар, вдали блестит мысок,
беленый ствол грызут лесные мыши,
и ветви, что всегда глядят в песок,
склоняются к нему, все ближе, ниже.
Как будто жаждут знать, что стало тут,
в песке тропы, с тенями их родными,
глядят в упор и как-то вниз растут,
сливаясь на тропе навечно с ними.
Пчела жужжит, блестит озерный круг,
плывет луна меж тонких веток ночью,
тень листьев двух, как цифра «8», вдруг
в безумный счет ввергает быстро рощу.

Внезапно Авраам увидел куст.
Густые ветви стлались низко-низко.
Хоть горизонт, как прежде, был здесь пуст,
но это означало: цель их близко.
«Здесь недалеко», — куст шепнул ему
почти в лицо, но Авраам, однако,
не подал виду и шагнул во тьму.
И точно — Исаак не видел знака.
Он, голову подняв, смотрел туда,
где обнажались корни чащи мрачной,
разросшейся над ним, — и там звезда
среди них (корней) зажгла свой свет прозрачный.
Еще одна. Минуя их, вдали
комки «земли» за «корнем» плыли слепо.
И наконец они над ним прошли.
Виденье леса прочь исчезло с неба.
И только вот теперь он в двух шагах
заметил куст (к отцу почуяв зависть).
Он бросил хворост, стал и сжал в руках
бесцветную листву, в песок уставаясь.

По сути дела куст похож на всё.
 На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу,
 на дельты рек, на луч, на колесо —
 но только ось его придется книзу.
 С ладонью сходен, сходен с плотью всей.
 При беглом взгляде ленты вен мелькают.
 С народом сходен — весь его рассей,
 но он со свистом вновь свой ряд смыкает.
 С ладонью сходен, сходен с сотней рук.
 (Со всею плотью — нет в нем только речи,
 но тот же рост, но тот же мир вокруг.)
 Весною в нем повсюду свечи, свечи.
 «Идем скорей». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
 «Идем, не стой». — (под шапку, как под крышу).
 «Давай скорей». — (упрятать каждый глаз).
 «Идем быстрее. Пошли». — «Сейчас». — «Не слышу».
 Он схож с гнездом, во тьму его птенцы,
 взмахнув крылом зеленым, мчат по свету.
 Он с кровью схож — она во все концы
 стремится свой бег (хоть в нем возврата нету).
 Но больше он всего не с телом схож,
 а схож с душой, с ее путями всеми.
 Движение в них, в них точно та же дрожь.
 Смыкаются они, а что в их сени?
 Смыкаются и вновь спешат назад.
 Пресечь они друг друга здесь не могут.
 Мешаются в ночи, вблизи скользят.
 Изогнуты суставы, лист изогнут.
 Смыкаются и тотчас вспять спешат,
 ныряют в темноту, в пространство, в голость,
 а те, кто жаждет прочь, — тотчас трещат
 и падают — и вот он, хворост. Хворост.
 И вновь над ними ветер мчит, свистя.
 Оставшиеся — вмиг — за первой веткой
 склоняются назад, шурша, хрустя,
 гонимые в клубок пружиной некой.
 Все жаждет жизни в этом царстве чувств:

как облик их, с кустом пустынным схожий,
 колеблет ветер здесь не темный куст,
 но жизни вид, по всей земле прохожий.
 Не только облик (чувств) — должно быть, весь
 огромный мир — грубей, обширней, тоньше,
 стократ сильней, пышней — столпился здесь.
 «Эй, Исаак. Чего ты встал? Идем же».
 Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.
 В нем сами буквы больше слова, шире.
 «К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
 Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.
 У ветки «К» отростков только два,
 а ветка «У» — всего с одним суставом.
 Но вот урок: пришла пора слова
 учить по форме букв, в ущерб составам.
 «Эй, Исаак!» — «Сейчас иду. Иду».
 (Внутри него горячий пар скопился.
 Он на ходу поднес кувшин ко рту,
 но поскользнулся, — тот упал, разбился.)
 Ночь. Рядом с Авраамом Исаак
 ступает по барханам в длинном платье.
 Взошла луна, и каждый новый шаг
 сверкает как серебро в песчаном злате.
 Холмы, холмы. Не видно им конца.
 Не видно здесь нигде предметов твердых.
 Все зыбко, как песок, как тень отца.
 Неясный гул растет в небесных сверлах.
 Блестит луна, синеет густо даль.
 Сплошная тишь, исчез бесследно ветер.
 «Далёко ль нам, отец?» — «О нет, едва ль», —
 не глядя, Авраам тотчас ответил.
 С бархана на бархан и снова вниз,
 по сторонам поспешным шаря взглядом,
 они бредут. Кусты простерлись ниц, —
 но все молчат: они идут ведь рядом.
 Но Аврааму ясно все и так:
 они пришли, он тувлей ямки роет.

Шуришит трава. Теперь идти пустяк.
 Они себе вот здесь ночлег устроят.
 «Эй, Исаак. Ты вновь отстал. Я жду».
 Он так напряг глаза, что воздух сетчат
 почудился ему — и вот: «Иду.
 Мне показалось, куст здесь что-то шепчет».
 «Идем же». — Авраам прибавил шаг.
 Луна горит. Все небо в ярких звездах
 молчит над ним. Простор звенит в ушах.
 Но это только воздух, только воздух.
 Песок и тьма. Кусты простились ниц.
 Все тяжелей влезать им с каждым разом.
 Бредут, склоняясь. Совсем не видно лиц.
 ...И Авраам вязанку сбросил наземь.

Они сидят. Меж них горит костер.
 Глаза слезятся, дым клубится едкий,
 а искры прочь летят в ночной простор.
 Ломает Исаак сухие ветки.
 Став на колени, их, склоняясь вперед,
 подбросить хочет; пламя стало утлым.
 Но за руку его отец берет:
 «Оставь его, нам хворост нужен утром.
 Нарви травы». — Устало Исаак
 встает и, шевеля с трудом ногами,
 бредет в барханы, где бездонный мрак
 со всех сторон, а сзади гаснет пламя.
 Отломленные ветки мыслят: смерть
 настигла их — теперь уж только время
 разлучит их не то что плотью, а твердь;
 однако здесь их ждет иное время.
 Отломленные ветки мертвым сном
 почили здесь — в песке нагретом, светлом.
 Но им еще придется стать огнем,
 а вслед за этим новой плотью — пеплом.
 И лишь когда весь пепел в пыль сотрут
 лавины сих песчаных орд и множеств, —

тогда они, должно быть, впрямь умрут,
исчезнув, сгинув, канув, изничтожась.
Смерть разная и эти ветви ждет.
Отставшая от леса стая волчья
несется меж ночных пустот, пустот,
и мечутся во мраке ветви молча.
Вернулся Исаак, неся траву.
На пальцы Авраам накинул тряпку:
«Подай сюда, сейчас ее порву».
И быстро стал крошить в огонь охапку.
Чуть-чуть светлей. Исчез из сердца страх.
Затем раздул внезапно пламя ветер.
«Зачем дрова нам утром?» — Исаак
потом спросил, и Авраам ответил:
«Затем, зачем вообще мы шли сюда
(ты отставал и все спешил вдогонку,
но так как мы пришли, прошла беда), —
мы завтра здесь должны закласть ягненка.
Не видел ты алтарь там, как ходил
искать траву?» — «Да что там можно видеть?
Там мрак такой, что я от страха стыл.
Один песок». — «Ну ладно, хочешь выпить?»
И вот уж Авраам сжимает мех
своей рукой, и влага льется в горло;
глаза же Исаака смотрят вверх:
там все сильней гудят, сверкая, сверла.
«Достаточно», — и он отсел к огню,
отерши рот коротким жестом пьяниц.
Уж начало тепло склонять ко сну.
Он поднял взгляд во тьму: «А где же агнец?»
Огонь придал неясный блеск глазам,
услышал он ответ (почти что окрик):
«В пустыне этой... Бог ягненка сам
найдет себе... Господь, он Сам усмотрит...»
Горит костер. В глазах отца янтарь.
Играет взгляд с огнем, а пламя — с взглядом.
Блестит звезда. Все ближе сонный царь

подходит к Исааку. Вот он рядом.
 «Там жертвенник давнишний. Сложен он
 давным-давно... Не помню кем, однако».
 Холмы песка плывут со всех сторон,
 как прежде, — будто куст не подал знака.

Горит костер. Вернее, дым к звезде
 сквозь толщу пепла рвется вверх натужно.
 Уснули все и вся. Покой везде.
 Не спит лишь Авраам. Но так и нужно.
 Спит Исаак и видит сон такой:
 безмолвный куст пред ним ветвями машет,
 он сам коснуться хочет их рукой,
 но каждый лист пред ним смятенно пляшет.
 Кто: Куст. Что: Куст. В нем больше нет корней.
 В нем сами буквы — больше слова, шире.
 «К» с веткой схоже, «У» — еще сильнее.
 Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.
 Пред ним все ветви, все пути души
 смыкаются, друг друга бьют, толпятся.
 В глубоком сне, во тьме, в сплошной тиши,
 сгибаются, мелькают, ввысь стремятся.
 И вот пред ним иголку куст вознес.
 Он видит дальше: там, где смутно, мглисто,
 тот хворост, что он сам сюда принес,
 срастается с живою веткой быстро.
 И ветви всё длинней, длинней, длинней,
 к его лицу листва все ближе, ближе.
 Земля блестит, и пышный куст над ней
 возносится пред ним во тьму все выше.
 Что ж «С» и «Т» — а КУст пронзает хмарь.
 Что ж «С» и «Т» — все ветви рвутся в танец.
 Но вот он понял: «Т» — алтарь, алтарь,
 а «С» на нем лежит, как в путах агнец.
 Так вот что КУСТ: К, У и С, и Т.
 Порывы ветра резко ветви кренят
 во все концы, но встреча им в к р е с т е,

где буква «Т» все пять одна заменит.
 Не только «С» придется там уснуть,
 не только «У» делиться после снами.
 Лишь верхней планке стоит соскользнуть,
 не буква «Т» — а тотчас КРЕСТ пред нами.
 И ветви — видит он — длинной, длинной.
 И вот они его в себя прияли.
 Земля блестит — и он плывет над ней.
 Горит звезда...

На самом деле — дали
 рассвет уже окрасил в желтый цвет,
 и Авраам, ему связавши тело,
 его понес туда, откуда след
 протоптан был сюда, где пламя тлело.
 Весь хворост был туда давно снесен,
 и Исаака он на это ложе
 сложил сейчас — и все проникло в сон,
 но как же мало было с явью схоже.
 Он возвратился, сунул шерсть в огонь.
 Та вспыхнула, обдавши руку жаром,
 и тотчас же вокруг поплыла вонь,
 и Авраам свой нож с коротким жалом
 достал (почти оттуда, где уснул
 тот нож, которым хлеб он резал в доме...).
 «Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул:
 на чем сейчас лежат его ладони?
 В одной кинжал, в другой — родная плоть.
 «Сейчас соединю...» — и тут же замер,
 едва пробормотав «Спаси, Господь». —
 Из-за бархана быстро вышел ангел.

«Довольно, Авраам», — промолвил он,
 и тело Авраама тотчас потным
 внезапно стало, он разжал ладонь,
 нож пал на землю, ангел быстро поднял.
 «Довольно, Авраам. Все му конец.

Конец всему, и небу то отрадно,
что ты рискнул — хоть жертве ты отец.
Ну, с этим все. Теперь пойдем обратно.
Пойдем туда, где все сейчас грустят.
Пускай узрят они, что в мире зла нет.
Пойдем туда, где реки все блестят,
как твой кинжал, но плоть ничью не ранят.
Пойдем туда, где ждут твои стада
травы иной, чем та, что здесь, — где снится
твоим шатрам тот день, число когда
твоих детей с числом песка сравнится.
Еще я помню: есть одна гора.
В ее подножьи есть ручей, поляна.
Оттуда пар ползет наверх с утра.
Всегда шумит на склоне роцца рьяно.
Внизу трава из русла шумно пьет.
Приходит ветер — роцца быстро гнется.
Ее листва в сырой земле гниет,
потом весной опять наверх вернется.
На том стоит у листьев сходство тут.
Пройдут года — они не сменят вида.
Стоят стволы, меж них кусты растут.
Бескрайних туч вверху несется свита.
И сонмы звезд блестят во тьме ночей,
небесный свод покрывши часто, густо.
В густой траве шумит волной ручей,
и пар в ночи растет по форме русла.

Пойдем туда, где все кусты молчат.
Где нет сухих ветвей, где птицы свили
гнездо из трав. А ветви, что торчат
порой в кострах, — так то с кустов, живые.
Твой мозг сейчас, как туча, застит мрак.
Открой глаза: здесь смерти нет в помине.
Здесь каждый куст — взгляни — стоит, как знак
стремленья вверх среди равнин пустыни.
Открой глаза: небесный куст в цвету.

Взгляни туда: он ждет, чтоб ты ответил.
 Ответь же, Авраам, его листу —
 ответь же мне — идем». — Поднялся ветер.
 «Пойдем же, Авраам, в твою страну,
 где плоть и дух с людьми — с людьми родными, —
 где всё, что есть, — живет в одном плену,
 где всё, что есть, стократ изменит имя.
 Их больше станет — но тем больший мрак
 от их теней им руки, ноги свяжет.
 Но в каждом слове будет некий знак,
 который вновь на первый смысл укажет.
 Кусты окружают их, поглотит шаг
 ТРАВА полей и ЛЕС в родной лазури
 мелькнет, как Авраам, как Исаак.
 Идемте же. Сейчас утихнет буря.
 Довольно, Авраам, испытан ты.
 Я нож забрал — тебе уж он не нужен.
 Холодный свет зари залил кусты.
 Идем же. Исаак почти разбужен.
 Довольно, Авраам. Испытан. Все.
 Конец всему. Все ясно. Кончим. Точка.
 Довольно, Авраам. Открой лицо.
 Достаточно. Теперь все ясно точно».

Стоят шатры, и тьма овец везде.
 Их тучи здесь, — нельзя их счесть. К тому же
 они столпились здесь, как тучи те,
 что отразились тут же рядом, в луже.
 Дымят костры, летают сотни птиц.
 Грызутся псы, костей в котлах им вдоволь.
 Стекает пот с горячих красных лиц.
 Со всех сторон несется громкий говор.
 На склонах овцы. Рядом тени туч.
 Они ползут навстречу: солнце встало.
 Свергаются ручьи с блестящих круч.
 Верблюды там в тени лежат устало.
 Шумят кусты, летают тыщи мух.

В толпе овец оса жужжит невнятно.
Стучит топор. С горы глядит пастух:
шатры лежат в долине, словно пятна.
Сквозь щелку входа виден ком земли.
Снаружи в щель заметны руки женщин.
Сочится пыль и свет во все углы.
Здесь все полно щелей, просветов, трещин.
Никто не знает трещин, как доска
(любых пород — из самых прочных, лучших, —
пускай она толста, длинна, узка),
когда разлад начнется между сучьев.
В сухой доске обычно трещин тьма.
Но это все пустяк, что есть снаружи.
Зато внутри — смола сошла с ума,
внутри нее дела намного хуже.
Смола засохла, стала паром вся,
ушла наружу. В то же время место,
оставленное ей, ползет, кося,
— куда, лишь одному ему известно.
Вонзаешь нож (надрез едва ль глубок)
и чувствуешь, что он уж в чьей-то власти.
Доска его упорно тянет вбок
и колется внезапно на две части.
А если ей удастся той же тьмой
и сучья скрыть, то бедный нож невольно,
до этих пор всегда такой прямой,
вдруг быстро начинает резать волны.
Все трещины внутри сродни кусту,
сплетаются, толкуются, тонут в спорах,
одна из них всегда твердит: «расту»,
и прах смолы пылится в темных порах.
Снаружи он как будто снегом скрыт.
Одна иль две — чернеют, словно окна.
Однако «вход» в сей дом со «стенкой» слит.
Поземка намела сучки, волокна.
От взора скрыт и крепко заперт вход.
Но нож всегда (внутри под ней, над нею)

останется слугою двух господ:
 ладони и доски — и кто сильнее...
 Не говоря о том уж, «в чьих глазах».
 Пылится свет, струясь сквозь щелку эту.
 Там, где лежат верблюды, Исаак
 с каким-то пришлецом ведет беседу.
 Дымят костры, летают сотни птиц.
 Кричит овца, жужжит оса невнятно.
 Струится пот с горячих красных лиц.
 Шатры лежат в долине, словно пятна.
 Бредут стада. Торчит могильный дом.
 Журчит ручей, волна траву колышет.
 Он встрепенулся: в воздухе пустом
 он собственное имя снова слышит.
 Он вдаль глядит: пред ним шатры лежат,
 идет народ, с востока туча идет.
 Вокруг костров, как в танце, псы кружат,
 шумят кусты, и вот бугор он видит.
 Стоит жена, за ней — шатры, поля.
 В ее руке — зеленой смоквы ветка.
 Она ей машет и зовет царя:
 «Идем же, Исаак». — «Идем, Ревекка».

* * *

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
 «Сейчас иду», — ответ средь веток мокрых
 ныряет под ночным густым дождем,
 как быстрый плот — туда, где гаснет окрик.
 «Исак, не отставай». — «Нет-нет, иду».
 (Березка проявляет мощь и стойкость.)
 «Исак, ты помнишь дом?» — «Да-да, найду».
 «Ну, мы пошли. Не отставай». — «Не бойтесь».

«Идем, Исак». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
 «Идем, не стой». — (под шапку, как под крышу).
 «Давай скорей». — (упрятать каждый глаз).
 «Идем быстрее. Идем». — «Сейчас». — «Не слышу».

По-русски Исаак теряет звук.
 Зато приобретает массу качеств,
 которые за «букву вместо двух»
 отплачивают втрое, в буквах прячась.
 По-русски «И» — всего простой союз,
 который числа действий в речи множит
 (похожий в математике на плюс),
 однако он не знает, кто их сложит.
 (Но суммы нам не вложено в уста.
 Для этого на свете нету звука.)
 Что значит «С», мы знаем из «к у с т а»:
 «С» — это жертва, связанная туго.
 А буква «А» — среди этих букв старик,
 союз, чтоб между слов был звук отдельный.
 По существу же — это страшный крик,
 младенческий, прискорбный, вой смертельный.
 И если сдвоить, построить: ААА,
 сложить бы воедино эти звуки,
 которые должны делить слова,
 то в сумме будет вопль страшной муки:
 «Объяло пламя все суставы «К»
 и к одинокой «А» стремится прямо!»
 Но не вздымает нож ничья рука,
 чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама.
 Пол-имени еще в устах торчит.
 Другую половину пламя прячет.

И снова жертва на огне Кричит:
 вот то, что «ИСААК» по-русски значит.

* * *

Дождь барабанит по ветвям, стучит,
 как будто за оградой кто-то плачет
 невидимый. «Эй, кто там?» Все молчит.

«Идем, Исак». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
 «Идем, не стой». — Долдонит дождь о крышу.

«Давай скорей! Вот так с ним каждый раз.
Идем быстрее. Идем». — «Сейчас». — «Не слышу».

Дождь льется непрерывно. Вниз вода
несется по стволам, смывает копоть.
В самой листве весенней, как всегда,
немного больше лета, чем должно быть
в июньских листьях, — лето здесь видней
втрое — хоть вся трава бледнее летней.
Но там, где тень листвы висит над ней,
она уж не уступит той, последней.
В тени стволов ясней видна земля,
видней в ней то, что в ярком свете слабо.
Бесшумный поезд мчится сквозь поля,
наклонные сначала к рельсам справа,
а после — слева — утром, ночью, днем,
бесцветный дым клубами трется оземь —
и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем,
что мчит он без конца сквозь цифру «8».
Он режет — по оси — ее венцы,
что сел, полей, оград, оврагов полны.
По сторонам — от рельс — во все концы
разрубленные к небу мчатся волны.
Сквозь цифру «8» — крылья ветряка,
сквозь лопасти стальных винтов небесных
он мчит вперед — его ведет рука,
и сноп лучей скользит в холмах окрестных.
Такой же сноп запрятан в нем самом,
но он с какой-то страстью, страстью жадной
в прожекторе охвачен мертвым сном:
как сноп жгутом, он связан стенкой задней.
Летит состав, во тьме не видно лиц.
Зато холмы — холмы вокруг не мнимы,
и волны от пути то вверх, то вниз
несутся, как лучи от ламп равнины.
Дождь хлещет непрерывно. Все блестит.
Завеса подворотни, окна косит,

по желобу свергаясь вниз, свистит.
 Намокшие углы дома возносятся.
 Горит свеча всего в одном окне.
 Холодный дождь стучит по тонкой раме.
 Как будто под водой, на самом дне,
 трепещет в темноте и жжется пламя.
 Оно горит, хоть все к тому, чтоб свет
 угас бы здесь, чтоб стал незрим, бесплотен.
 Здесь, в темноте, нигде прохожих нет,
 кирпич стены молчит в окне напротив.
 Двор заперт, дворник запил, ночь пуста.
 Раскачивает дождь замок из стали.
 Горит свеча, и виден край листа.
 Засовы, как вода, огонь обстали.
 Задвижек волны, темный вал щеколд,
 на дне — ключи — медузы, в мерном хоре
 поют крюки, защелки, цепи, болт;
 все это — только море, только море.
 И все ж она стремится свой свет во тьму,
 призыв к себе (сквозь дождь, кирпич, сквозь доску).
 К себе ль? — О нет, сплошной призыв к тому,
 что в ней горит. Должно быть, к воску, к воску.
 Забор дощатый. Три замка в дверях.
 В них нет щелей. Отсюда ключ не вынут.
 Со всех сторон царит бездонный мрак.
 Открой окно — и тотчас волны хлынут.
 Засов гремит, и доступ к ней закрыт.
 (Рукой замок в бессильной злобе стисни.)
 И все-таки она горит, горит.
 И пожирает нечто, больше жизни.

Пришла лиса, блестят глаза в окне,
 пред ней стекло, как волны, блики гасит.
 Она глядит: горит свеча на дне
 и длинными тенями стены красит.
 Пришла лиса, глядит из-за плеча.
 Чуть-чуть свистит, и что-то слышно в свисте

сродни словам. И здесь горит свеча.
Подсвечник украшают пчелы, листья.
Повсюду пчелы, крылья, пыль, цветы,
а в самом центре в медном том пейзаже
корзина есть, и в ней лежат плоды,
которые в чеканке меньше даже
семян из груш. — Но сам язык свечи,
забыв о том, что можно звать спасеньем,
дрожит над ней и ждет конца в ночи,
как летний лист в пустом лесу осеннем.

1963

ЛОМТИК МЕДОВОГО МЕСЯЦА

М.Б.

Не забывай никогда,
как хлещет в пристань вода
и как воздух упруг —
как спасительный круг.

А рядом — чайки галдят,
и яхты в небо глядят,
и тучи вверху летят,
словно стая утят.

Пусть же в сердце твоём,
как рыба, бьется живьем
и трепещет обрывок
нашей жизни вдвоем.

Пусть слышится устриц хруст.
Пусть топорщится куст.
И пусть тебе помогает
страсть, достигшая уст,

понять — без помощи слов —
как пена морских валов,
достигая земли,
рождает гребни вдали.

В РАСПУТИЦУ

Дорогу развезло,
как реку.
Я погрузил весло
в телегу,
спасательный овал
намаслив.
На всякий случай. Стал
запаслив.

Дорога, как река,
зараза.
Мережей рыбака
тень вяза.
Коню не до ухи
под носом.
Тем более, хи-хи,
колесам.

Не то, чтобы весна,
но вроде.
Разброд и кривизна.
В разброде
деревни — все подряд
хромая.
Лишь полный скуки взгляд —
прямая.

Орешники скребут
по борту.
Спасательный хомут —
на морду.
Над яблоней моей,
над серой,
восьмерка журавлей
на север.

Воззри сюда, о друг —
потомок:
во всеоружьи дуг,
постромок,
и двадцати пяти
от роду,
пою на полпути
в природу.

1964

РАЗВИВАЯ КРЫЛОВА

Одна ворона (их была гурьба,
но вечер их в ольшаник перепрятал)
облюбовала маковку столба,
другая — белоснежный изолятор.
Друг другу, так сказать, насупротив
(как требуют инструкций незабудки),
контроль над телеграфом учредив
в глуши, не помышляющей о бунте,
они расположились над крыльцом,
возвысясь над околицей белесой,
над сосланным в изгнание певцом,
над спутницей его длинноволосой.

А те в обнимку, думая свое,
прижавшись, чтобы каждый обогрелся,
стоят внизу. Она — на острие,
а он — на изолятор загляделся.
Одно обоим чудится во мгле,
хоть (позабыв про сажу и про копоть)
она — все об уколе, об игле,
а он — об изоляции, должно быть;
(какой-то непонятный перебор.
Какое-то подобие аврала:
ведь если изолирует фарфор,
зачем его ворона оседлала).

И все, что будет, зная назубок
(прослывший знатоком былого тонким),

он высвободил локоть, и хлопок
ударил по вороньим перепонкам.
Та, первая, замешкавшись, глаза
зажмурила и крылья распростерла.
Другая же — взвилась под небеса
и каркнула во все воронье горло,
приказывая издали и впредь
фарфоровому шарiku (над нами)
помалкивать и взапуски белеть
с забредшими в болото валунами.

17 мая 1964

* * *

М.Б.

Ты выпорхнешь, малиновка, из трех
малинников, припомнивши в неволе,
как в сумерках вторгается в горох
ворсистое люпиновое поле.
Сквозь сомкнутые вербные усы
— туда, где, замирая на мгновенья,
бесчисленные капельки росы
сбегают по стручкам от столкновенья.

Малинник вострепнется, но в залог
оставлена догадка, что, возможно,
охотник, расставляющий силок,
валежником хрустит неосторожно.
На деле же — лишь ленточка тропы
во мраке извивается, белея.
Не слышно ни журчанья, ни стрельбы,
не видно ни Стрельца, ни Водолея.

Лишь ночь под перевернутым крылом
бежит по опрокинувшимся кущам,
— настойчива, как память о былом,
безмолвном, но по-прежнему живущем.

24 мая 1964

* * *

Дни бегут надо мной,
словно тучи над лесом,
у него за спиной
сбившись стадом белесым.
И, застыв над ручьем,
без мычанья и звона,
налегают плечом
на ограду загона.

Горизонт на бугре
не проронит о бегстве ни слова.
И порой на заре
ни клочка от былого.
Предъявив свой транзит,
только вечер вчерашний
торопливо скользит
над скворешней, над пашней.

1964

ОБОЗ

Скрип телег тем сильней,
чем больше вокруг теней.
Сильней, чем дальше они
от колючей стерни.
Из колеи в колею
дерут они глотку свою
тем громче, чем дальше луг,
чем гуще листва вокруг.

Вершина голой ольхи
и желтых берез верхи
видят, уняв озноб,
как смотрит связанный сноп
в чистый небесный свод.
Опять коряга, и вот
деревья слышат не птиц,
а скрип деревянных спиц
и громкую брань возниц.

1964

С ГРУСТЬЮ И С НЕЖНОСТЬЮ

А. Горбунову

На ужин вновь была лапша, и ты,
 Мицкевич, отодвинув миску,
 сказал, что обойдешься без еды.
 Поэтому и я, без риска
 медбрата показаться бунтарем,
 последовал чуть позже за тобою
 в уборную, где пробыл до отбоя.
 «Февраль всегда идет за январем.
 А после март». Обрывки разговора.
 Сиянье кафеля, фарфора;
 вода звенела хрусталем.

Мицкевич лег, в оранжевый волчок
 оставив свой невидящий зрачок.
 (А может — там судьба ему видна.)
 Бабанов в коридор медбрата вызвал.
 Я замер возле темного окна,
 и за спиною грохал телевизор.
 «Смотри-ка, Горбунов, какой — там хвост».
 «А глаз какой». «А видишь там нарост,
 под плавником?» «Похоже на нарыв».
 Так в феврале мы, рты раскрыв,
 тарачились в окно на звездных Рыб,
 сдвигая лысоватые затылки,

в том месте, где мокрота на полу.
 Где рыбу подают порой к столу,
 но к рыбе не дают ножа и вилки.

* * *

В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне он в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит, выдает
девицу за лесничего и, в шутку,
устраивает вечный недолет
объездчику, стреляющему в утку.

Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.

1964

ПЕСНЯ

Пришел сон из семи сел.
Пришла лень из семи деревень.
Собирались лечь, да простыла печь.
Окна смотрят на север.
Сторожит у ручья скирда ничья,
и большак развезло, хоть бери весло.
Уронил подсолнух башку на стебель.

То ли дождь идет, то ли дева ждет.
Запрягай коней да поедем к ней.
Невеликий труд бросить камень в пруд.
Подопьем, на шелку постелим.
Отчего молчишь и как сыч глядишь?
Иль зубчат забор, как еловый бор,
за которым стоит терем?

Запрягай коня да вези меня.
Там не терем стоит, а сосновый скит.
И цветет вокруг монастырский луг.
Ни амбаров, ни изб, ни гумен.
Не раздумал пока, запрягай гнедка.
Всем хорош монастырь, да с лица — пустырь,
и отец игумен, как есть, безумен.

ВЕЧЕРОМ

Снег сено запорошил
сквозь щели под потолком.
Я сено разворошил
и встретился с мотыльком.
Мотылек, мотылек.
От смерти себя сберег,
забравшись на сеновал.
Выжил, зазимовал.

Выбрался и глядит,
как «летучая мышь» чадит,
как ярко освещена
бревенчатая стена.
Приблизив его к лицу,
я вижу его пыльцу
отчетливей, чем огонь,
чем собственную ладонь.

Среди вечерней мглы
мы тут совсем одни.
И пальцы мои теплы,
как июльские дни.

1965

* * *

Сумев отгородиться от людей,
я от себя хочу отгородиться.
Не изгородь из тесаных жердей,
а зеркало тут больше пригодится.
Я озираю хмурые черты,
щетину, бугорки на подбородке.
Трельяж для разводящейся четы,
пожалуй, лучший вид перегородки.
В него влезают сумерки в окне,
край пахоты с огромными скворцами
и озеро — как брешь в стене,
увенчанной еловыми зубцами.
Того гляди,
 что из озерных дыр
да и вообще — через любую лужу
сюда ползет посторонний мир.
Иль этот уползет наружу.

1966

О С Т А Н О В К А В П У С Т Ы Н Е

Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал. В такой архитектуре
есть что-то безнадежное. А впрочем,
концертный зал на тыщу с лишним мест
не так уж безнадежен: это — храм,
и храм искусства. Кто же виноват,
что мастерство вокальное дает
сбор больший, чем знамена веры?
Жаль только, что теперь издалека
мы будем видеть не нормальный купол,
а безобразно плоскую черту.
Но что до безобразия пропорций,
то человек зависит не от них,
а чаще от пропорций безобразья.

Прекрасно помню, как ее ломали.
Была весна, и я как раз тогда
ходил в одно татарское семейство,
неподалеку жившее. Смотрел
в окно и видел Греческую церковь.
Все началось с татарских разговоров;
а после в разговор вмешались звуки,
сливавшиеся с речью поначалу,
но вскоре — заглушившие ее.
В церковный садик въехал экскаватор

с подвешенной к стреле чугунной гирей.
И стены стали тихо поддаваться.
Смешно не поддаваться, если ты
стена, а пред тобою — разрушитель.
К тому же, экскаватор мог считать
ее предметом неодушевленным
и, до известной степени, подобным
себе. А в неодушевленном мире
не принято давать друг другу сдачи.
Потом — туда согнали самосвалы,
бульдозеры... И как-то в поздний час
сидел я на развалинах абсиды.
В провалах алтаря зияла ночь.
И я — сквозь эти дыры в алтаре —
смотрел на убежавшие трамваи,
на вереницу тусклых фонарей.
И то, чего вообще не встретишь в церкви,
теперь я видел через призму церкви.

Когда-нибудь, когда не станет нас,
точнее — после нас, на нашем месте
возникнет тоже что-нибудь такое,
чему любой, кто знал нас, ужаснется.
Но знавших нас не будет слишком много.
Вот так, по старой памяти, собаки
на прежнем месте задирают лапу.
Ограда снесена давным-давно,
но им, должно быть, грезится ограда.
Их грезы перечеркивают явь.
А может быть, земля хранит тот запах:
асфальту не осилить запах псины.
И что им этот безобразный дом!
Для них тут садик, говорят вам — садик.
А то, что очевидно для людей,
собакам совершенно безразлично.
Вот это и зовут: «собачья верность».
И если довелось мне говорить

всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах.

Так мало нынче в Ленинграде греков,
да и вообще — вне Греции — их мало.
По крайней мере, мало для того,
чтоб сохранить сооруженья веры.
А верить в то, что мы сооружаем,
от них никто не требует. Одно,
должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести — уже совсем другое.
У них одна обязанность была.
Они ее исполнить не сумели.
Непаханое поле заросло.
«Ты, сеятель, храни свою соху,
а мы решим, когда нам колоситься».
Они свою соху не сохранили.

Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?

1966

POSTSCRIPTUM

Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существование для тебя.
... В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения... Увы,
тому, кто не умеет заменить
собой весь мир, обычно остается
крутить щербатый телефонный диск,
как стол на спиритическом сеансе,
покуда призрак не ответит эхом
последним воплям зуммера в ночи.

1967

ПОСЛАНИЕ К СТИХАМ

«Скучен вам, стихи мои, ящик...»

Кантемир

Не хотите спать в столе. Прытко
 возражаете: «Быв здраву,
 корчиться в земле суть пытка».
 Отпускаю вас. А что ж? Праву
 на свободу возражать — грех. Мне же
 хватит и других — здесь, мыслю,
 не стихов: грехов. Все реже
 сочиняю вас. Да вот, кислу
 мину позабыл аж даве
 сделать на вопрос: «Как вирши?
 Прибавляете лучей к славе?»
 Прибавляю, говорю. Вы же
 оставляете меня. Что ж! Дай вам
 Бог того, что мне ждать поздно.
 Счастья, мыслю я. Даром
 что я сам вас сотворил. Розно
 с вами мы пойдем: вы — к людям,
 я — туда, где все будем.

До свидания, стихи. В час добрый.
 Не боюсь за вас; есть средство
 вам перенести путь долгий:
 милые стихи, в вас сердце
 я свое вложил. Коль в Легу
 канет, то скорбеть мне перву.
 Но из двух оправ — я эту
 смело, предпочел сему перлу.

Вы и краше и добрей. Вы тверже
тела моего. Вы проще
горьких моих дум, что тоже
много вам придаст сил, мощи.
Будут за все то вас, верю,
более любить, чем ноне
вашего творца. Все двери
настежь будут вам всегда. Но не
грустно эдак мне слыть нищу:
я войду в одне. Вы — в тыщу.

1967

РЕЧЬ О ПРОЛИТОМ МОЛОКЕ

I. 1

Я пришел к Рождеству с пустым карманом
Издатель тянет с моим романом.
Календарь Москвы заражен Кораном.
Не могу я встать и поехать в гости
ни к приятелю, у которого плачут детки,
ни в семейный дом, ни к знакомой девке.
Всюду необходимы деньги.
Я сижу на стуле, трясусь от злости.

2

Ах, проклятое ремесло поэта.
Телефон молчит, впереди диета.
Можно в месткоме занять, но это —
все равно, что занять у бабы.
Потерять независимость много хуже,
чем потерять невинность. Вчуже,
полагаю, приятно мечтать о муже,
приятно произносить «пора бы».

3

Зная мой статус, моя невеста
пятый год за меня ни с места;
и где она нынче, мне неизвестно:
правды сам черт из нее не выбьет.
Она говорит: «Не горюй напрасно.
Главное — чувства! Единогласно?»

И это с ее стороны прекрасно.
Но сама она, видимо, там, где выпьет.

4

Я вообще отношусь с недоверьем к ближним.
Оскорбляю кухню желудком лишним.
В довершение всего досаждаю личным
взглядом на роль человека в жизни.
Они считают меня бандитом,
издеваются над моим аппетитом.
Я не пользуюсь у них кредитом.
«Наливайте ему пожиже!»

5

Я вижу в стекле себя холостого.
Я факта в толк не возьму простого,
как дожил до от Рождества Христова
Тысяча Девятьсот Шестьдесят Седьмого.
Двадцать шесть лет непрерывной тряски,
рытья по карманам, судейской таски,
ученья строить Закону глазки,
изображать немого.

6

Жизнь вокруг идет как по маслу.
(Подразумеваю, конечно, массу.)
Маркс оправдывается. Но по Марксу
давно пора бы меня зарезать.
Я не знаю, в чью пользу сальдо.
Мое существование парадоксально.
Я делаю из эпохи сальто.
Извините меня за резвость!

7

То есть, все основания быть спокойным.
Никто уже не кричит «По коням!».
Дворяне выведены под корень.

Ни тебе Пугача, ни Стеньки.
 Зимний взят, если верить байке.
 Джугашвили хранится в консервной банке.
 Молчит оружие на полубаке.
 В голове моей — только деньги.

8

Деньги прячутся в сейфах, в банках,
 в полу, в чулках, в потолочных балках,
 в негоряемых кассах, в почтовых бланках.
 Наводняют собой Природу!
 Шумят пачки новеньких ассигнаций,
 словно вершины берез, акаций.
 Я весь во власти галлюцинаций.
 Дайте мне кислороду!

9

Ночь. Шуршание снегопада.
 Мостовую тихо скребет лопата.
 В окне напротив горит лампада.
 Я торчу на стальной пружине.
 Вижу только лампаду. Зато икону
 я не вижу. Я подхожу к балкону.
 Снег на крыши кладет попону,
 и дома стоят, как чужие.

II. 10

Равенство, брат, исключает братство.
 В этом следует разобраться.
 Рабство всегда порождает рабство.
 Даже с помощью революций.
 Капиталист развел коммунистов.
 Коммунисты превратились в министров.
 Последние плодят морфинистов.
 Почитайте, что пишет Луций.

11

К нам не плывет золотая рыбка.
 Маркс в производстве не вяжет лыка.

Труд не является товаром рынка.
 Так говорить — оскорблять рабочих.
 Труд — это цель бытия и форма.
 Деньги — как бы его платформа.
 Нечто помимо путей прокорма.
 Разматываем клубочек.

12

Вещи больше, чем их оценки.
 Сейчас экономика просто в центре.
 Объединяет нас вместо церкви,
 объясняет наши поступки.
 В общем, каждая единица
 по своему существу — девица.
 Она желает объединиться.
 Брюки просятся к юбке.

13

Шарик обычно стремится в лузу.
 (Я, вероятно, терзаю Музу.)
 Не Конкуренции, но Союзу
 принадлежит прекрасное завтра.
 (Я, отнюдь не стремлюсь в пророки.
 Очень возможно, что эти строки
 сократят ожидания сроки:
 «Год засчитывать за два».)

14

Пробил час и пора настала
 для брачных уз Труда — Капитала.
 Блеск презируемого металла
 (дальше — изображение в лицах)
 приятней, чем пустота карманов,
 проще, чем чехарда тиранов,
 лучше цивилизации наркоманов,
 общества, выросшего на шприцах.

15

Грех первородства — не суть сиротства.
 Многим, бесспорно, любезней скотство.
 Проще различье найти, чем сходство:
 «У Труда с Капиталом контактов нету».
 Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе,
 хватит трепаться о пополаме.
 Есть влечение между полами.
 Полюса создают планету.

16

Как холостяк я грущу о браке.
 Не жду, разумеется, чуда в раке.
 В семье есть ямы и буераки.
 Но супруги — единственный тип владельцев
 того, что они создают в уславе.
 Им не требуется «не укради».
 Иначе все пойдем Христа ради.
 Поберегите своих младенцев!

17

Мне, как поэту, все это чуждо.
 Больше: я знаю, что «коемуждо...».
 Пишу и вздрагиваю: вот чушь-то,
 неужто я против законной власти?
 Время спасет, коль они не правы.
 Мне хватает скандальной славы.
 Но плохая политика портит нравы.
 Это уж — по нашей части!

18

Деньги похожи на добродетель.
 Не падая сверху — Аллах свидетель —
 деньги чаще летят на ветер
 не хуже честного слова.
 Ими не следует одолажаться.
 С нами в гроб они не ложатся.

Им предписано умножаться,
словно басням Крылова.

19

Задние мысли сильнее передних.
Любая душа переплюнет ледник.
Конечно, обществу проповедник
нужней, чем слесарь, науки.
Но пока нигде не слышать пророка,
предлагаю — дабы еще до срока
не угодить в объятья порока —
займите чем-нибудь руки.

20

Я не занят, в общем, чужим блаженством.
Это выглядит красивым жестом.
Я занят внутренним совершенством:
полночь — полбанки — лира.
Для меня деревья дороже леса.
У меня нет общего интереса.
Но скорость внутреннего прогресса
больше, чем скорость мира.

21

Это — основа любой известной
изоляции. Дружба с бездной
представляет сугубо местный
интерес в наши дни. К тому же,
это свойство несовместимо
с братством, равенством и, вестимо,
благородством невозместимо,
недопустимо в муже.

22

Так, тоскуя о превосходстве,
как Топтыгин на воеводстве,
я пою вам о производстве.

Буде указанный выше способ
всеми правильно будет понят,
общество лучших сынов нагонит,
факел разума не уронит,
осчастливит любую особь.

23

Иначе — верх возьмут телепаты,
буддисты, спириты, препараты,
фрейдисты, неврологи, психопаты.
Кайф, состояние эйфории,
диктовать нам будет свои законы.
Наркоманы прицепят себе погоны.
Шприц повесят вместо иконы
Спасителя и Святой Марии.

24

Душу затянут большой вуалью.
Объединят нас сплошной спиралью.
Воткнут в розетку с этил-моралью.
Речь освободят от глагола.
Благодаря хорошему зелью
закружимся в облаках каруселью.
Будем спускаться на землю
исключительно для укола.

25

Я уже вижу наш мир, который
покрыт паутиной лабораторий.
А паутиною траекторий
покрыт потолок. Как быстро!
Это неприятно для глаза.
Человечество увеличивается в три раза.
В опасности белая раса.
Неизбежно смертоубийство.

26

Либо нас перережут цветные.
 Либо мы их сошлем в иные
 миры. Вернемся в свои пивные.
 Но то и другое — не Христианство.
 Православные! это не дело.
 Что вы смотрите обалдело?!
 Мы бы предали Божье Тело,
 расчищая себе пространство.

27

Я не воспитывался на софистах.
 Есть что-то дамское в пацифистах.
 Но чистых отделять от нечистых —
 не наше право, поверьте.
 Я не указываю на скрижали.
 Цветные нас, бесспорно, прижали.
 Но не мы их на свет рожали,
 не нам предавать их смерти.

28

Важно многим создать удобства.
 (Это можно найти у Гоббса.)
 Я сижу на стуле, считаю до ста.
 Чистка — грязная процедура.
 Не принято плясать на могиле.
 Создать изобилие в тесном мире —
 это по-христиански. Или:
 в этом и состоит Культура.

29

Нынче поклонники оборота
 «Религия — опиум для народа»
 поняли, что им дана свобода,
 дожили до золотого века.
 Но в таком реестре (издержки слога)
 свобода не выбрать — весьма убога.

Обычно тот, кто плюет на Бога,
плюет сначала на человека.

30

«Бога нет. А земля в ухабах».
«Да, не видать. Отключусь на бабах».
Творец, творящий в таких масштабах,
делает слишком большие рейды
между объектами. Так что то, что
там Его царствие — это точно.
Оно от мира сего заочно.
Сядьте на свои табуреты!

31

Ночь. Переулок. Мороз блокады.
Вдоль тротуаров лежат карпаты.
Планеты раскачиваются как лампы,
которые Бог возжиг в небосводе
в благоговеньи Своем великом
перед непознанным нами ликом
(поэзия делает смотр уликам),
как в огромном кивоте.

III 32

В Новогоднюю ночь я сижу на стуле.
Ярким блеском горят кастрюли.
Я прикладываюсь к микстуре.
Нерв разошелся, как черт в сосуде.
Ощущаю легкий пожар в затылке.
Вспоминаю выпитые бутылки,
вологодскую стражу, Кресты, Бутырки.
Не хочу возражать по сути.

33

Я сижу на стуле в большой квартире.
Ниагара клокочет в пустом сортире.
Я себя ощущаю мишенью в тире,

вздрагиваю при малейшем стуке.
 Я закрыл парадное на засов, но
 ночь в меня целит рогами Овна,
 словно Амур из лука, словно
 Сталин в XVII съезд из «тулки».

34

Я включаю газ, согреваю кости.
 Я сижу на стуле, трясусь от злости.
 Не желаю искать жемчуга в компосте!
 Я беру на себя эту смелость!
 Пусть изучает навоз, кто хочет.
 Патриот, господа, не крыловский кочет.
 Пусть КГБ на меня не дробит.
 Не бренчи ты в подкладке, мелочь!

35

Я дышу серебром и харкаю медью!
 Меня ловят багром и дырявой сетью.
 Я дразню гусей и иду к бессмертью,
 дайте мне хворостину!
 Я беснуюсь, как мышь в пустоте сусека!
 Выносите святых и портрет Генсека!
 Раздается в лесу топор дровосека!
 Поваляюсь в сугробе, авось остыну.

36

Ничего не остыну! Вообще забудьте!
 Я помышляю почти о бунте!
 Не присягал я косому Будде,
 за червонец помчусь за зайцем!
 Пусть закроется — где стамеска! —
 яснополянская хлеборезка!
 Непротивленья, панове, мерзко.
 Это мне — как серпом по яйцам!

37

Как Аристотель на дне колодца,
 откуда не ведаю что берется.

Зло существует, чтоб с ним бороться,
а не взвешивать в коромысле.
Всех, скорбящих по индивиду,
всех, подверженных конъюнктивиту,
— всех к той матери по алфавиту:
демократия в полном смысле!

38

Я люблю родные поля, лощины,
реки, озера, холмов морщины.
Все хорошо. Но дерьмо мужчины.
В теле, а духом слабы.
Это я верный закон накнокал.
Все утирается ясный сокол.
Господа, разбейте хоть пару стекол!
Как только терпят бабы?

39

Грустная ночь у меня сегодня.
Смотрит с обоев бывшая сотня.
Можно поехать в бордель и сводня —
нумизматка — будет согласна.
Лень отклеивать, суетиться.
Остается тихо сидеть, поститься
да напротив в окно креститься,
пока оно не погасло.

40

«Зелень лета, эх, зелень лета!
Что мне шепчет куст бересклета?
Хорошо пройтись без жилета!
Зелень лета вернется.
Ходит девочка, эх, в платочке.
Ходит по полю, рвет цветочки.
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.
В небе ласточка вьется».

ОТКРЫТКА ИЗ ГОРОДА К.

Томасу Венцлова

Развалины есть праздник кислорода
и времени. Новейший Архимед
прибавить мог бы к старому закону,
что тело, помещенное в пространство,
пространством вытесняется.

Вода

дробит в зеркале пасмурном руины
Дворца Курфюрста; и небось, теперь
пророчествам реки он больше внимлет,
чем в те самоуверенные дни,
когда курфюрст его отгрохал.

Кто-то

среди развалин бродит, вороша
листву запрошлогоднюю. То — ветер,
как блудный сын, вернулся в отчий дом
и сразу получил все письма.

1967

ПОДСВЕЧНИК

Сатир, покинув бронзовый ручей,
сжимает канделябр на шесть свечей,
как вещь, принадлежащую ему.
Но, как сурово утверждает опись,
он сам принадлежит ему. Увы,
все виды обладания таковы.
Сатир — не исключенье. Посему
в его мошонке зеленеет окись.

Фантазия подчеркивает явь.
А было так: он перебрался вплавь
через поток, в чьем зеркале давно
шестью ветвями дерево шумело.
Он обнял ствол. Но ствол принадлежал
земле. А за спиной уничтожал
следы поток. Просвечивало дно.
И где-то щебетала Филомела.

Еще один продлись все это миг,
сатир бы одиночество постиг,
ручьям свою ненужность и земле;
но в то мгновенье мысль его ослабла.
Стемнело. Но из каждого угла
«не умер» повторяли зеркала.
Подсвечник воцарился на столе,
пленяя завершенностью ансамбля.

Нас ждет не смерть, а новая среда.
От фотографий бронзовых вреда
сатиру нет. Шагнув за Рубикон,
он затвердел от пейс до гениталий.
Наверно, тем искусство и берет,
что только уточняет, а не врет,
поскольку основной его закон,
бесспорно, независимость деталей.

Зажжем же свечи. Полно говорить,
что нужно чей-то сумрак озарить.
Никто из нас другим не властелин,
хотя поползновения зловещи.
Не мне тебя, красавица, обнять.
И не тебе в слезах меня пенять;
поскольку заливаает стеарин
не мысли о вещах, но сами вещи.

1968

ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля — дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,
незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег
коль выпадет, то думалось — навеки,
что, дабы не зажмуривать ей век,
я прикрывал ладонью их, и веки,
не веря, что их пробуют спасти,
метались там, как бабочки в горсти.

Так чужды были всякой новизне,
что тесные объятия во сне
бесчестили любой психоанализ;
что губы, припадавшие к плечу,
с моими, задувавшими свечу,
не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз
семейство на обшарпанных обоях
сменилось целой рощею берез,
и деньги появились у обоих,
и тридцать дней над морем, языкат,
грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг,
без мебели, без утвари, на старом
диванчике, что — прежде, чем возник —
был треугольник перпендикуляром,
восставленным знакомыми стоймя
над слившимися точками двумя.

Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
мы дверь себе — работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
и черным ходом в будущее вышли.

* * *

F.W.

На Прачечном мосту, где мы с тобой
 уподоблялись стрелкам циферблата,
 обнявшись в двенадцать перед тем,
 как не на сутки, а навек расстаться,
 — сегодня здесь, на Прачечном мосту,
 рыбак, страдая комплексом Нарцисса,
 тарашится, забыв о поплавке,
 на зыбкое свое изображение.

Река его то молодит, то старит.
 То проступают юные черты,
 то набегают на чело морщины.
 Он занял наше место. Что ж, он прав!
 С недавних пор все то, что одиноко,
 символизирует другое время;
 а это — ордер на пространство.

Пусть

он смотрится спокойно в наши воды
 и даже узнает себя. Ему
 река теперь принадлежит по праву,
 как дом, в который зеркало внесли,
 но жить не стали.

1968

СТРОФЫ

I

На прощанье — ни звука.
Граммфон за стеной.
В этом мире разлука —
лишь прообраз иной.
Ибо врозь, а не подле
мало веки смежать
вплоть до смерти. И после
нам не вместе лежать.

II

Кто бы ни был виновен,
но, идя на правед,
воздаяния вровень
с невиновным не ждешь.
Тем верней расстаемся,
что имеем в виду,
что в Раю не сойдемся,
не столкнемся в Аду.

III

Как подзол раздирает
бороздою соха,
правога разделяет
беспощадней греха.
Не вина, но оплошность
разбивает стекло.
Что скорбеть, расколовшись,
что вино утекло?

IV

Чем тесней единенье,
 тем кромешней разрыв.
 Не спасет затемненья
 ни равид, ни наплыв.
 В нашей твердости толка
 больше нету. В чести
 одаренность осколка
 жизнь сосуда вести.

V

Наполняйся же хмелем,
 осушайся до дна.
 Только емкость поделим,
 но не крепость вина.
 Да и я не загублен,
 даже ежели впредь,
 кроме сходства зазубрин,
 общих черт не узреть.

VI

Нет деленья на чуждых.
 Есть граница стыда
 в виде разницы в чувствах
 при словце «никогда».
 Так скорбим, но хороним;
 переходим к делам,
 чтобы смерть, как синоним,
 разделить пополам.

VII

.....

VIII

Невозможность свиданья
 превращает страну
 в вариант мирозданья,
 хоть она в ширину,
 завидуя к славе,
 не уступит любой
 залетейской державе;
 превзойдет гольтьбой.

IX

.....

X

Что ж без пользы неволишь
 уничтожить следы?
 Эти строки всего лишь
 подголосок беды.
 Обрастание сплетней
 подтверждает к тому ж:
 расставанье заметней,
 чем слияние душ.

XI

И, чтоб гончим не выдал
 — ни моим, ни твоим —
 адрес мой храпоидол
 или твой — херувим,
 на прощанье — ни звука;
 только хор Аонид.
 Так посмертная мука
 и при жизни саднит.

ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ

I

«Ну, что тебе приснилось, Горбунов?»
 «Да, собственно, лисички». «Снова?» «Снова».
 «Ха-ха, ты насмешил меня, нет слов».
 «А я не вижу ничего смешного.
 Врач говорит: основа всех основ —
 нормальный сон». «Да ничего дурного
 я не хотел... хоть сон того, не нов».
 «А что попишешь, если нет иного?»
 «Мы, ленинградцы, видим столько снов,
 а ты никак из этого, грибного,

не вырвешься». «Скажи мне, Горчаков,
 а что вам, ленинградцам, часто снится?»
 «Да как когда... Концерты, лес смычков.
 Проспекты, переулки. Просто лица.
 (Сны состоят как будто из клочков).
 Нева, мосты. А иногда — страница,
 и я ее читаю без очков!
 (Их отбирает перед сном сестрица.)»
 «Да, этот сон сильнее моих зрачков!»
 «Ну что ты? Часто снится и больница».

«Не нужно жизни. Знай себе смотри.
 Вот это сон! И вправду день не нужен.
 Такому сну мешает свет зари.
 И как, должно быть, злишься ты, разбужен...

Проклятие, Мицкевич! Не ори!..
 Держу пари, что я проспал бы ужин».
 «Порой мне также снятся снегири.
 Порой ребенок прыгает по лужам.
 И это — я...» «Ну что ж ты, говори.
 Чего ты смолк?» «Я, кажется, простужен.

Тебе зачем все это?» «Просто так».
 «Ну вот, я говорю, мне снится детство.
 Мы с пацанами лезем на чердак.
 И снится старость. Никуда не деться
 от старости... Какой-то кавардак:
 старик, мальчишка...» «Грустное соседство».
 «Ну, Горбунов, какой же ты простак!
 Ведь эти сновиденья только средство
 ночь провести поинтересней». «Как?!»
 «Чтоб ночью дня порастрасти наследство».

«Ты говоришь «наследство»? Вот те на!
 Позволь, я обращусь к тебе с вопросом:
 а как же старость? Старость не видна.
 Когда ж это ты был седоволосым?»
 «Зачем хрипит Бабанов у окна?
 Зачем Мицкевич вертится под носом?
 На что же нам фантазия дана?
 И вот воображеньем, как насосом,
 я втягиваю старость в царство сна».

«Но, Горчаков, тогда, прости, не ты,
 не ты себе приснишься». «Истуканов
 тебе подобных просто ждут Кресты,
 и там не выпускают из стаканов!
 А кто ж мне снится? Что молчишь? В кусты?»
 «Гор-кевич. В лучшем случае, Гор-банов».
 «Ты спятил, Горбунов!» «Твои черты,
 их — седина; таких самообманов
 полно и наяву до тошноты».
 «Ходить тебе в пижаме без карманов».

«Да я и так в пижаме без кальсон».
 «Порой мне снится печка, головешки...»
 «Да, Горчаков, вот это сон так сон!
 Проспекты, разговоры. Просто вещи.
 Рояль поющей скрипке в унисон.
 И женщины. И, может, что похлеще».
 «Вчера мне снился стол на шесть персон».
 «А сны твои — они бывают вещи?
 Иль попросту все мчится колесом?»
 «Да как сказать: те — вещи, те — зловещи».

«Фрейд говорит, что каждый — пленник снов».
 «Мне говорили: каждый — раб привычки.
 Ты ничего не спутал, Горбунов?»
 «Да нет, я даже помню вид странички».
 «А Фрейд не врет?» «Ну, мало ли врунов...
 Но вот, допустим, хочется клубнички...»
 «То самое, в штанах?» «И без штанов.
 А снится, что клюют тебя синички.
 Сны откровенней всех говорунов».
 «А как же, Горбунов, твои лисички?»

«Мои лисички — те же острова.
 (Да и растут лисички островками.)
 Проспекты те же, улочки, слова.
 Мы говорим, как правило, рывками.
 Подобно тишине, меж них — трава.
 Но можно прикоснуться к ним руками!
 Отсюда их обширные права,
 и кажутся они мне поплавками,
 которые несет в себе Нева
 того, что у меня под башмаками».

«Так, значит, ты один из рыбаков,
 которые способны бесконечно
 взирать на положение поплавков,
 не правда ли?» «Пока что безусловно».

«А в сумерках конструкции крючков
 прикидывать за ужином беспечно?»
 «И прятать по карманам червячков!»
 «Боюсь, что ты застрянешь здесь навечно».
 «Ты хочешь огорчить меня?» «Конечно.
 На то я, как известно, Горчаков».

II

Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Да, миска киселя
 и овощи». «Ну, всё повеселее.
 А что снаружи?» «Звездные поля».
 «Смотрю, в тебе замашки Галилея».
 «Вторая половина февраля
 отмечена уходом Водолея,
 и Рыбы водворяются, суля,
 что скоро будет в реках потеплее».
 «А что земля?» «Что, собственно, земля?»
 «Ну, что внизу?» «Больничная аллея».

«Да, знаешь, ты действительно готов.
 Ты метишь, как я чувствую, в Ньютоны.
 На буйном тоже некий Хомутов
 — кругом галдеж, блевотина и стоны —
 твердит: я — Гамильтон, и я здоров;
 а сам храпит, как наши харитоны».
 «Шло при Петре строительство портов,
 и наезжали разные тевтоны.
 Фамилии нам стоили трудов.
 Возможно, Хомутовы — Гамильтоны».

«Натоплено, а чувствую озноб».
 «Напрасно ты к окошку прислонился».
 «Из-за твоих сверкающих зазноб».
 «Ну что же, убедился?» «Усомнился.
 Я вижу лишь аллею и сугроб».

«Вон Водолей с кувшином наклонился».
 «Нам телескоп иметь здесь хорошо б».
 «Да, хорошо б». «И ты б угомонился».
 «Что?! Телескоп?! На кой мне телескоп!»
 «Ну, Горбунов, чего ты взбеленился?»

«С ногами на постель мою ты влез.
 Я думаю, что мог бы потрудиться
 снять шлепанцы». «Но холодно мне без,
 без шлепанцев. Не следует сердиться.
 Я зябну потому, что интерес
 к сырým лисичкам в памяти гнездится».
 «Не снился Фрейду этакий прогресс!
 Прогресса же не следует стыдиться:
 приснится активисту мокрый лес,
 и пассивист способен простудиться».

«Лисички не безвредны и, по мне,
 они враги душевному здоровью.
 Ты ценишь их?» «С любовью наравне».
 «А что ты понимаешь под любовью?»
 «Разлуку с одиночеством». «Вполне?»
 «Возможность наклониться к изголовью
 и к жизни прикоснуться в тишине
 дыханием, руками или бровью...»
 «На что ты там уставился в окне?»
 «Само сопротивление суесловью».

«Не дашь ли ты мне яблока?» «Лови».
 «Ну, что твои лисички-невелички?»
 «Я думаю обычно о любви
 всегда, когда смотрю я на лисички.
 Не знаю, где — в уме или в крови, —
 но чувствую подобье переключки».
 «Привычка и нормальное, увы,
 стремление рассудка к обезличке».

«То область рук. А в сфере головы —
отсутствие какой-либо привычки».

«И стало быть, во сне, когда темно,
ты гредишь о лисичках?» «Постоянно».
«Вернее, о любви?» «Ну все равно.
По-твоему, наверно, это странно?»
«Не странно, а, по-моему, грешно.
Грешно и, как мне думается, срамно!
Чему ты улыбаешься?» «Смешно».
«Не дашь ли ты мне яблока?» «Я дам, но
понять тебе лисичек не дано».
«Лисички — это, знаешь, полигамно».

Вот! Я тебя разделал под орех!
Есть горечь в горчаковской укоризне!
«Зачем ты говоришь, что это грех?
Грех — то, что наказуемо при жизни.
А как накажешь, если стрелы всех
страданий жизни собрались, как в призме,
в моей груди? Мне снится без помех
грядущее». «Мы, стало быть, на тризне
присутствуем?» «И, стало быть, мой смех
сегодня говорит об оптимизме».

«А Страшный Суд?» «А он — движенье вспять,
в воспоминанья. Как в кинокартине.
Да что там Апокалипсис! Лишь пять,
пять месяцев в какой-нибудь пустыне.
А я полжизни протрубил и спать
с лисичками мне хочется отныне.
Я помню то, куда мне отступить
от Огненного Ангела Твердыни...»
«Боль сокрушит гордыню». «Ни на пядь;
боль напитала дерево гордыни».

«Ты, значит, не боишься темноты?»
«В ней есть ориентиры». «Поклянись мне».

«И я с ориентирами на ты.
 Полно ориентиров, только свистни».
 «Находчивость — источник суеты».
 «Я не уверен в этом афоризме.
 Душа не ощущает тесноты».
 «Ты думаешь? А в мертвом организме?»
 «Я думаю, душа за время жизни
 приобретает смертные черты».

III

Горбунов в ночи

«Больница. Ночь. Враждебная среда...
 Все это не трагедия... К тому же
 и приговоры Страшного Суда
 тем легче для души моей, чем хуже
 ей было во плоти моей... Всегда,
 когда мне скверно, думаю, что ту же
 боль вынесу вторично без труда.
 Так мальчика прослеживают в муже...
 Лисички занесли меня сюда.
 А то, что с ними связано, снаружи.

Они теперь мне снятся. А жена
 не снится мне. И правильно. Где тонко,
 там рвется. Эта мысль не лишена...
 Я сделал ей намеренно ребенка.
 Я думал, что останется она.
 Хоть это — психология подонка.
 Но, видимо, добрался я до дна.
 Не знаю, как душа, а перепонка
 цела. Я слышу шелест полотна.
 Поет в зубах Бабанова гребенка...

Я голос чей-то слышу в тишине.
 Но в нем с галлюцинациями слуха
 нет общего: давление на дне —

давление безвредное для уха.
 И голос тот противоречит мне.
 Уверенно, настойчиво и глухо.
 Кому принадлежит он? Не жене.
 Не ангелам. Поскольку царство духа
 безмолвствует с женою наравне.
 Жаль, нет со мною старого треуха!

Больничная аллея. Ночь. Сугроб.
 Гудит ольха, со звездами сражаясь.
 Из-за угла в еврейский телескоп
 глядит медбрат, в жида преображаясь.
 Сужается постель моя, как гроб.
 Хрусталик с ней сражается, сужаясь.
 И кровь шумит, как клюквенный сироп.
 И щиколотки стыннут, обнажаясь.
 И делится мой разум, как микроб,
 в молчаньи безгранично размножаясь!

Нас было двое. То есть, к алтарю...
 Она ушла. Задетый за живое,
 теперь я вечно с кем-то говорю.
 Да, было двое! И осталось двое!
 Февраль идет на смену январю.
 Вот так, напоминая о конвое,
 алтарь, благодаря календарю,
 препятствует молчанью, каковое
 я тем уничтожаю, что творю
 в себе второе поле силовое.

Она ушла. Я одержим собой.
 Собой? А не позвать ли Горчакова?
 Эй, Горчаков!.. Да нет, уже отбой.
 Да так ли это, впрочем, бестолково,
 когда одни уста наперебой
 поют двоих в отсутствие алькова?
 Я сам слежу за собственной губой.
 Их пополам притягивает слово.

Я — круг в сеченьи. Стало быть, любой
из нас двоих — магнитная подкова.

Ночь. Губы на два голоса поют.
Ты думаешь, не много ли мне чести?
Но в этом есть особенный уют:
пускай противоречие, но вместе.
Они почти семейство создают
в молчаньи. А тем более — в присесте.
Возлюбленному верхняя приют.
А нижняя относится к невесте.
Но то, что на два делится, то тут
разделится, бесспорно, и на двести.

А все, что увеличилось вдвойне,
приемлемо и больше не ничтожно.
Проблему одиночества вполне
решить за счет раздвоенности можно.
Отчаянье раскраивает мне,
как доску, душу надвое, как нож, но
не я с ним остаюсь наедине.
А если двоедушие безбожно,
то не дрова нуждаются в огне,
а греет то, что противоположно.

Ты, Боже, если властен сразу двум,
двум голосам внимать, притом бегущим
из уст одних, и видеть в них не шум,
а вид борьбы минувшего с грядущим,
восхить к Себе мой кашляющий ум,
микробы расселив его по кущам,
и сумму дней и судорожных дум
Ты раздели им жестом всемогущим.
А мне оставь, как разность этих сумм,
победу над молчаньем и удушьем.

А ежели мне впрямь необходим
здесь слушатель, то, Господи, не мешкай:
пошли мне небожителя. Над ним
ни болью не возвышусь, ни усмешкой,
поскольку он для них неуязвим.
По мне, коль оборачиваться решкой,
то пусть не Горчаков, а херувим
возносится над грязною ночлежкой
и кружит над рыданиями и слезкой
прямым благословением Твоим».

IV

Горчаков и врачи

«Ну, Горчаков, давайте ваш доклад».
«О Горбунове?» «Да, о Горбунове».
«Он выражает беспартийный взгляд
на вещи, на явления, — в основе
своей диалектический; но ряд —
но ряд его высказываний внове
для нас». «Они, бесспорно, говорят
о редкостной насыщенности крови
азотом, разложившим аппарат
самоконтроля». «Сросшиеся брови,

асимметричность подбородка, жир
на подбородке. Нос его расцвечен
сосудами, раздавшимися вширь...»
«Я думаю, разрушенная печень».
«Компрессами и путаницей жил
асимметричный лоб его увенчан.
Лисички — его слабость и кумир.
Он так непривлекателен для женщин.
«Преувеличен внутренний наш мир,
а внешний соответственно уменьшен», —

вот характерный для него язык.
В таких вот выражениях примерных
свой истинный показывает лик

сторонник непартийных, эфемерных
воззрений...» «В этом чувствуется сдвиг
налево от открытий достоверных
марксизма». «Недостаточно улик». «А как насчет явлений атмосферных?»
«А он отвык от женщины?» «Отвык.
В нем нет телодвижений характерных

для этого... ну как его... ах ты!..»
«Спокойно, Горчаков!» «...для женолюбца».
«А как он там... ну, в смысле наготы?..
Там органы и прочее?» «Сугубо,
сугубо от нужды и до нужды.
Простите, что высказываюсь грубо».
«Ну что вы! Не хотите ли воды?»
«Воды?» «А вы хотели коньяку бы?»
«Не признаю я этой ерунды».
«Зачем же вы облизывали губы?»

«Не знаю... Что-то связано с водой».
«Что именно?» «Не помню, извините».
«Наверное, стакан перед едой?»
«Да нет же, вы мне спутали все нити...
Постойте, вижу... человек... худой...
вокруг — пустыня... Азия... взгляните:
ползут пески татарской ордой,
пылает солнце... как его?.. в зените.
Он окружен враждебной средой...
И вдруг — колодец...» «Дальше! Не тяните!»

«А дальше вновь все пусто и мертво.
Колодец... это самое... сокрылся».
«Эй, Горчаков! Что с вами?» «Я... того.
Я, знаете, того... заговорился.
Во всем великолепье своего
идеализма нынче он раскрылся».
«Кто? Горбунов?» «Ну да, я про него.

Простите мне, товарищи, что сбился». «Нет-нет, вы продолжайте. Ничего». «Я слишком в Горбунова углубился...

Он — беспартийный, вот его беда!
 если день особенно морозен,
 он сильно отклоняется туда...
 ну, влево, к отопленью...» «Грандиозен!»
 «А он религиозен?» «О, да-да!
 Он так религиозен... религиозен!
 Я даже опасуюсь иногда:
 того гляди, что бухнется он оземь
 и станет Бога требовать сюда». «Он так от беспартийности нервозен».

«Он влево уклоняется». «Ха-ха!»
 «Чему вы усмехаетесь, коллега?»
 «Тому, что это, в общем, чепуха:
 от Горчакова батареи слева,
 от Горбунова, стало быть...» «Ага!
 Как в шахматах? Король и королева?
 Напротив!» «Справедливо». «От греха
 запишем, так сказать, для подогрева
 два мнения». «Идея неплоха».
 «Какая ж это песня без припева?

Ну вот и заключение... шнурков!
 подшить!.. Эй, Горчаков, вы не могли бы
 автограф свой?» «Я нынче без очков».
 «Мои не подойдут?» «Да подошли бы.
 Так: «влево уклоняется»... каков!
 «и вправо»... справедливо! Справедливы
 два мнения. Мы этих барчуков...
 Одно из двух: мы выкурим их, либо...»
 «Спасибо вам, товарищ Горчаков.
 На Пасху мы вас выпустим». «Спасибо.

Да-да. Благодарю. Благодарить...
 Не сделать ли поклона поясного?..
 Где Горбунов?! Глаза ему раскрыть!..
 О ужас, я же истины — ни слова...
 Да, собственно, откуда эта прыть?
 Плевать на параноика лесного!
 Уток теряет собственную нить,
 когда под ним беснуется основа.
 Как странно Горчакову говорить
 безумными словами Горбунова!»

V

Песня в третьем лице

«И он ему сказал». «И он ему
 сказал». «И он сказал». «И он ответил».
 «И он сказал». «И он». «И он во тьму
 воззрится и сказал». «Слова на ветер».
 «И он ему сказал». «Но, так сказать,
 сказать «сказал» сказать совсем не то, что
 он сам сказал». «И он «к чему влезать
 в подробности» сказал; все ясно. Точка».
 «Один сказал другой сказал струит».
 «Сказал греха струит сказал к веригам».
 «И молча на столе сказал стоит».
 «И, в общем, отдает татарским игом».
 «И он ему сказал». «А он связал
 и свой сказал, и тот, чей отзвук замер».
 «И он сказал». «Но он тогда сказал».
 «И он ему сказал; и время занял».

«И он сказал». «Вот так булыжник вдруг
 швыряют в пруд. Круги — один, четыре...»
 «И он сказал». «И это — тот же круг,
 но радиус его, бесспорно, шире».
 «Сказал — кольцо». «Сказал — еще кольцо».
 «И вот его сказал уткнулся в берег».

«И собственный сказал толкнул в лицо,
вернувшись вспять». «И больше нет Америк».
«Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал».
«Суть поезда». «Все дальше, дальше рейсы».
«И вот уже сказал почти вокзал».
«Никто из них не хочет лечь на рельсы».
«И он сказал». «А он сказал в ответ».
«Сказал исчез». «Сказал пришел к перрону».
«И он сказал». «Но раз сказал — предмет,
то так же относиться должно к он'у».

«И он ему». «И он». «И он ему».
«И я готов считать, что вечер начат».
«И он ему». «И это все к тому,
что оба суть одно взаимно значат».
«Он, собственно, вопрос». «Ему — ответ».
«Потом наоборот». «И нет различья».
«Конечно, между ними есть просвет».
«Но лишь как средство избежать двуличья».
«Он кем (ему) приходится ему?»
«И в неживой возможны ли природе
сношенья, неподсудные уму?»
«Пусть не родня обычная, но вроде?»
«Чего не разберет судебный зал!
Сидит судья; очки его без стекол».
«Он кто ему?» «Да он ему — сказал».
«И это грандиознее, чем свекор».

«Огромный дом. Слепые этажи.
Два лика, побледневшие от вони».
«Они не здесь». «А где они, скажи?»
«Где? В он-ему-сказал'е или в он'е».
«Огромный дом. Фигуры у окна.
И гомон, как под сводами вокзала.
Когда здесь наступает тишина?»
«Лишь в промежутках он-ему-сказал'а».
«Сказала, знаешь, требует она».

«Но это же сказал во время он' а».
 «А все-таки приятна тишина».
 «Страшнее, чем анафема с амвона».
 «Так, значит, тут страшатся тишины?»
 «Да нет; как обстоятельствами места
 и времени, все объединены
 сказал'ом, наподобие инцеста».

«И это — образ действия?» «О да.
 Они полны сношеньями своими».
 «Когда они умолкнут?» «Никогда».
 «Наверное, как собственное имя».
 «Да, собственное имя — концентрат.
 Оно не допускает переносов,
 замен, преобразений и утрат».
 «И это, в общем, двигатель вопросов».
 «Вот именно! И косвенная речь
 в действительности — самая прямая».
 «И этим невозможно пренебречь
 без личного ущерба». «И, внимая
 тому, что Он Сказал произнесет,
 как дети у церковного притвора,
 мы как бы приобщаемся высот,
 достигнутых еще до разговора».

«Что вам приснилось, Он Ему Сказал?»
 «Кругом — врачи». «Рассказывать подробно».
 «Мне ночью снился океанский вал.
 Мне снилось море». «Неправдоподобно!»
 «Должно быть, он забыл уже своих
 лисичек». «Невозможно!» «Вероятно».
 «Да нет, он отвечает за двоих».
 «И это уж, конечно, необъятно».
 «Я видел сонмы сумеречных вод.
 Отчетливо и ясно. Но, при этом,
 я видел столь же ясно небосвод...»
 «И это вроде выстрела дуплетом».

«...И гребни, словно гривы жеребцов,
 расставшихся с утопленной повозкой».
 «А не было там, знаете, гребцов,
 утопленников?» «Я не Айвазовский.
 Я видел гребни пенившихся круч.
 И берег — как огромная подкова...
 И Он Сказал носился между туч
 с улыбкой Горбунова, Горчакова».

VI

Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось? Говори».
 «Да я ж тебе сказал о разговоре
 с комиссией». «Да брось ты, не хитри.
 Я сам его подслушал в коридоре».
 «Ну вот, я говорю...» «Держу пари,
 ты станешь утверждать, что снится море».
 «Да, море, разумеется». «Не ври,
 не верю». «Не настаиваю. Горе
 невелико». «Ты только посмотри,
 как залупился! Истинно на воре

и шапка загорается». «Ну, брось».
 «Чего ж это я брошу, интересно?»
 «Да я же, Горчаков, тебя насквозь...»
 «Нашелся рентгенолог!» «Неуместно
 подшучиваешь. Как бы не пришлось
 раскаиваться». «Выдумашь!» «Честно.
 Как только мы оказывались врозь,
 комиссии вдруг делалось известно,
 о чем мы тут... Сексотничал, небось?
 Чего же ты зарделся, как невеста?»

«Ты сердишься?» «Да нет, я не сержусь».
 «Не мучь меня!» «Что, я — тебя? Занятно!
 «Ты сердишься». «Ну, хочешь побожусь?»

«Тебе же это будет неприятно».
 «Да нет, я не особенно стыжусь».
 «Вот это уже искренне». «Обратно
 за старое? Неужто я кажусь
 тебе достойным слсжки? Непонятно».
 «А что ж не побожишься?» «Я боюсь,
 что ты мне не поверишь». «Вероятно».

«Я что-то в этом смысла не пойму».
 «Я смешиваю зерна и полову».
 «Вот видишь, ты не веришь ничему:
 ни Знамению Крестному, ни слову».
 «Война в Крыму. Все, видимо, в дыму».
 Цитирую по дедушке Крылову...
 Отсюда ты отправишься в тюрьму».
 «Ты шел бы, подобру да поздорову...»
 «Чего ты там тарачишься во тьму?»
 «Уланову я вижу и Орлову».

«Я, знаешь ли, сметаюсь в коридор».
 «Зачем?» «Да так, покалывает темя».
 «Зачем ты вечно спрашиваешь?» «Вздор!»
 «Что, истины выискиваешь семя?»
 «Ты тоже ведь тарачишься во двор».
 «Сексотишь, вероятно, сучье племя».
 «Я просто расширяю кругозор».
 «Не веря?» «Недоверчивость не бремя».
 Ты знаешь, и донос, и разговор —
 все это как-то скрашивает время».

«А время как-то скрашивает дни».
 «Вот, кажется, и темя отпустило...
 Ну, что тебе приснилось, не темни!»
 «А, все это тоскливо и постыло...
 Ты лучше посмотрел бы на огни».
 «Ну, тени от дощатого настила...»
 «Орлова! и Уланова в тени...»

«Ты знаешь, как бы кофе не остыло».
 «Война была, ты знаешь, и они
 являлись как бы символами тыла».

«Вторая половина февраля.
 Смотри-ка, что показывают стрелки».
 «Я думаю, лишь радиус нуля».
 «А цифры?» «Как бордюрок на тарелке...
 Сервиз я видел, сделанный а ля
 Мейссенские...» «Мне нравятся подделки».
 «Там надпись: «мастерская короля»
 и солнце — вроде газовой горелки».
 «Сейчас я взял бы вермуту». «А я
 сейчас не отказался бы от грелки...

Смотри, какие тени от куста!»
 «Прости, но я материю все ту же...
 те часики...» «Обратно неспроста?»
 «Ты судишь обо мне гораздо хуже,
 чем я того...» «Виной твои уста».
 «Неужто ж ноль?» «Ага». «Но почему же?»
 «Да просто так; снаружи — пустота».
 «Зато внутри теплее, чем снаружи».
 «Ну, эти утепленные места
 являются лишь следствиями стужи».

«А как же быть со штабелями дров?»
 «Наверное, связующие звенья...
 О Господи, как дует из углов!
 И холодно, и голоден как зверь я».
 «Болезни — это больше докторов».
 «Подворье грандиознее преддверья».
 «Но все-таки, ты знаешь, это кров».
 «Давай-ка, Горчаков, без лицемерья;
 и знай — реальность высказанных слов
 огромней, чем реальность недоверья».

«Да, стужа грандиознее тепла».
 «А время грандиознее, чем стрелка».
 «А дерево грандиознее дупла».
 «Дупло же грандиознее, чем белка».
 «А белка грациознее орла».
 «А рыбка... это самое... где мелко».
 «Мне хочется раздеться догола!»
 «Где радиус, там вилка и тарелка!»
 «А дерево, сгоревшее дотла...»
 «Едва ли грандиознее, чем грелка».

VII

Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Да, прежняя трава.
 Всё овощи...» «Не стоит огорчаться.
 Нам птичьи тут отпущены права».
 «Но мясо не должно бы запрещаться».
 «Взгляни-ка лучше: новые дрова...»
 «Имею же я право возмущаться!»
 «Ну нет, администрация права,
 права в пределах радиуса». «Вжаться
 в сей радиус не жаждет голова,
 а брюхо...» «Не желаю возвращаться

к изложенному выше; и к тому ж,
 мне кажется, пошаливает почка».
 «Но сам-то я — вне радиуса». «Чушь!
 А кто же предо мной?» «Лишь оболочка».
 «Ну, о неограниченности душ
 слышал я что-то в молодости. Точка».
 «Да нет, помимо этого, я — муж.
 Снаружи и жена моя, и дочка».
 «Тебе необходим холодный душ!
 Где именно?» «На станции Опочка».

«Наверное, приснилось». «Ни фига.
 Скорее, это я тебе приснился».
 «Опочка где-то в области». «Ага».

«Далёко ты того... распространился».
 «Мне следует удариться в бега».
 «Не стоит. Ты весьма укоренился».
 «Ты прав. Но, говорят, одна нога...
 другая там... Вообще я обленился!
 Не сделать семимильного шага!»
 «Ну-ну, утомонись». «Утомонился».

«Ты сколько зарабатывал?» «Семьсот;
 по-старому». «И где же?» «В учрежденьи».
 «Боишься, что спросил и донесет?»
 «Ну кто себе откажет в наслажденьи?»
 «Тебя мое молчанье не спасет».
 «Да, знаешь ли, по зрелом рассужденье...»
 «Приятнее считать, что я сексот,
 чем размышлять о местонахожденьи».
 «Увы, до столь пронзительных высот
 мешает мне взорлить происхожденье».

«Так что ж ты заседаешь на меню?»
 «Еще не превратился в ветерана
 и трижды то же самое на дню...»
 «Ты меряешь в масштабах ресторана».
 «Я вписываю в радиус родню».
 «Тебе, должно быть, резали барана
 для ужина». «Я, собственно, клоню
 к тому, что мне отказываться рано
 от прошлого». «Кончай пороть херню».
 «А что тебе не нравится?» «Пространно».

«Я радиус расширил до родни».
 «Тем хуже для тебя оно, тем хуже».
 «Я только ножка циркуля. Они —
 опора неподвижная снаружи».
 «И это как-то скрашивает дни,
 чем шире этот радиус?» «Чем уже.
 На свете так положено: одни

стоят, другие двигаются вчуже».
 «Бывают неподвижные огни,
 расширенные радиусом лужи».

«Я двигаюсь!» «Не ведаю, где старт,
 но финиш — ленинградские сугробы».
 «Я жив, пока я двигаюсь. Декарт
 мне мог бы позавидовать». «Еще бы!
 Мне нравится твой искренний азарт».
 «А мне твои душевные трущобы
 наскучили». «А что твой миллиард —
 ну, звездные ковши и небоскребы?»
 «Восходит Овн, курирующий март».
 «Иметь здесь телескоп нам хорошо бы».

«Вот именно. Нам стали бы видны
 опоры наши дальние». «Начатки
 движения». «Мы чувствовать должны
 устойчивость Опочки и Камчатки».
 «Я в марте родился. Мне суждены
 шатания. Мне сняли отпечатки...
 Как жаль, что мы дрожать принуждены:
 опоры наши дальние столь шатки...»
 «Которые под Овном рождены,
 должны ходить в каракулевой шапке».

«Ты думаешь, от холода дрожу?»
 «А сверься с посиневшими пальцами».
 «А ты?» «Я Близнецам принадлежу.
 Я в мае родился, под Близнецами».
 «Тепло тебе?» «Поскольку я сужу...»
 «Короче! Не мудри с немудрецами!»
 «В сравнении с тобой я нахожу,
 что вовсе мне не холодно». «С концами!»
 «В чем дело, Горчаков?» «Не выношу!»
 «Да нет, все это правда — с месяцами».

«Увы, на телескоп не наскрести,
 и мы своих опор не наблюдаем».
 «Пусть радиус у жизни не в чести,
 сам циркуль, Горчаков, неувядаем».
 «Еще умру тут, Господи, прости,
 считая, что тот свет необитаем».
 «Нет, не умрешь; напрасно не грусти».
 «Ты думаешь?» «Обсудим». «Обсуждаем».
 «Тот груз, которым нынче обладаем,
 в другую жизнь нельзя перенести».

VIII

Горчаков в ночи

«Твой довод мне бессмертие сулит!
 Мой разум, как извилины подстилки,
 сияньем твоих доводов залит —
 не к чести моей собственной коптилки...
 Проклятие, что делает колит!
 И мысли — словно демоны в бутылке.
 Твой светоч мой фитиль не веселит!
 О Горбунов! от слов твоих в затылке,
 воспламеняясь, кровь моя бурлит —
 от этой искры, брошенной в опилки!

Ушел... Мне остается монолог.
 Плюс радиус ночного циферблата...
 Оставил только яблоки в залог
 и смылся, наподобие Пилата!
 Попробуем забиться в уголок,
 исследуем окраины халата.
 Водрузим на затылок котелок
 с присохшими остатками салата...
 Какие звезды?! Пол и потолок.
 В окошке — отражается палата.

Ночь. Окна — бесконечности ошлот.
 Палата в них двоится и клубится.

За окнами — решетки перешилет:
 наружу отраженью не пробиться.
 В пространстве этом — задом наперед —
 постелью мудрено не ошибиться.
 Но сон меня сегодня не берет.
 Уснуть бы... и вообще — самоубиться!
 Риска — раз тут всё наоборот —
 тем самым в свою душу углубиться!

Уснуть бы... Санитары на посту.
 Приносит ли им пользу отраженье?
 Оно лишь умножает тесноту,
 поскольку бесконечность — умноженье.
 Я сам уже в глазах своих расту,
 и стекла, подхлестнув воображенье,
 сжимают между койками версту...
 Я чувствую во внутренностях жженье,
 взирая на далекую звезду.
 Основа притяженья — торможенье!

Нормальный сон — основа всех основ!
 Верней, выздоровления основа.
 Эй, Горбунов!.. На кой мне Горбунов?!
 Уменьшим свою речь на Горбунова!
 Сны откровенней всех говорунов
 и грандиозней яблока глазного.
 Фрейд говорит, что каждый — пленник снов.
 Как странно в это вдумываться снова...
 Могилы исправляют горбунов!..
 Конечно, за отсутствием иного

лекарства... А сия галиматья —
 лишь следствие молчания соседних
 кроватей. Ибо чувствую, что я
 тогда лишь есмь, когда есть собеседник!
 В словах я приобщаюсь бытия!
 Им нужен продолжатель и наследник!
 Ты, Горбунов, мой высший судия!

А сам я — только собственный посредник
 меж сияющим и лишенным забытья,
 смотритель своих выбитых передних...

Ночь. Форточка... О если бы медбрат
 открыл ее!.. Не может быть и речи.
 На этот — ныне запертый — квадрат
 приходится лицо мое и плечи.
 Ведь это означало бы разврат,
 утечку отражения. А течи
 тем плохи, что любой дегенерат
 решился бы, поскольку недалеко,
 удрать хоть головою в Ленинград...
 О Горбунов! я чувствую при встрече

с тобою, как нормальный идиот,
 себя всего лишь радиусом стрелки!
 Никто меня, я думаю, не ждет
 ни здесь, ни за пределами тарелки,
 заполненной цифирью. Анекдот!
 Увы, тебе масштабы эти мелки!
 Грядет твое мучение. Ты тот,
 которому масштаб его по мерке.
 Весь ужас, что с тобой произойдет,
 ступеньки разновидность или дверки

туда, где заждались тебя. Грешу
 лишь тем, что не смогу тебя дозваться.
 Ты, Горбунов! Покуда я дышу,
 во власть твою я должен отдаваться!
 К тебе свои молитвы возношу!
 Мне некуда от слов твоих деваться!
 Приди ко мне! Я слов твоих прошу.
 Им нужно надо мною раздаваться!
 Затем-то я на них и доношу,
 что с ними не способен расставаться,

когда ты удаляешься... Прости!
 Не то чтобы страшился я разлуки...
 Зажав освобождение в горсти,
 к тебе свои протягиваю руки.
 Как все, что предстоит перенести --
 источник равнодушия и скуки --
 не помни, Горбунов, меня, не мсти!
 Как эхо, продолжающее звуки,
 стремясь их от забвения спасти,
 люблю и предаю тебя на муки».

IX

Горбунов и врачи

«Ну, Горбунов, рассказывайте нам».
 «О чем?» «О ваших снах», «Об оболочке».
 «И называйте всех по именам».
 «О циркуле». «Рассказывай о дочке».
 «Дочь не имеет отношения к снам».
 «Давай-ка, Горбунов, без проволочки».
 «Мне снилось море». «Ну его к хренам».
 «Да, лучше обойдемся без примочки».
 «Без ваших по морям да по волнам».
 «Начните, если хочется, с Опочки».

«Зачем вам это?» «Нужно». «И слова»
 «Для вашей пользы». «Реплика во вкусе
 вопросов Красной Шапочки. Она,
 вы помните, спросила у бабуся
 насчет ушей, чья страшная длинна...
 «не бойся» — та в ответ, — «ахти, боюсь»,
 «чтоб лучше слышать вгучку!» «Вот те на!»
 Не думали о вас мы как о трусе».
 «К тому ж, в итоге кролика спасена».
 «Во всем есть шлюсь». «Думайте о шлюсь».

«Чего молчите?» «Просто вевертуж!»
 Дождется, что придется рассердиться!»
 «Чего ты дождишься?» «Что дожь,

не встретив возражений, испарится».
 «И что тогда?» «Естественнее все ж
 на равных толковать, как говорится».
 «Ну, мне осточертел его скулеж.
 Давайте впрыснем кальцию, сестрица».
 «Он весь дрожит». «Естественная дрожь.
 То мысли обостряются от шприца».

«Ну, Горбунов, припомнили ли вы,
 что снилось?» «Только море». «А лисички?»
 «Увы, их больше не было». «Увы!»
 «Я свыкся с ними. Это — по привычке».
 «О женщинах, когда они мертвы
 или смотались к черту на кулички,
 так сетуют мужчины». «Вы правы:
 «увы» — мужская реплика. Кавычки».
 «Но может быть и возгласом вдовы».
 «Запишем обе мысли в рапорт¹чике».

«Сны обнажают тайную канву
 того, что совершается в мужчине».
 «А то, что происходит наяву,
 не так нас занимает по причине...»
 «Причину я и сам вам назову».
 «Да: Горчаков. Но дело не в личине,
 им принятой скорей по озорству;
 но в снах у вас — тенденция к пучине».
 «Вы сон мой превращаете в Неву.
 А устье говорит не о кончине;

скорей, о размножении». «Едва ль
 терпимо, чтоб у всяческих отбросов
 пошло потомство». «Экая печаль.
 Река, как уверяет нас философ,
 стоит на месте, убегая вдаль».
 «И это, говорят, вопрос вопросов».
 «Отсюда Ньютон делает мораль».

«Ага! опять Ньютон!» «И Ломоносов».
 «А что у нас за окнами?» «Февраль.
 Пора метелей, спячки и доносов».

«Как месяц, он единственный в году
 по дням своим». «Подобие калеки».
 «Но легче ведь прожить его?» «К стыду,
 признаюсь: легче легкого». «А реки?»
 «Что — реки?» «Замыкаются во льду».
 «Но мы-то говорим о человеке».
 «Вы знаете, что ждет вас?» «На беду,
 подозреваю: справка об опеке?»
 «Со всем, что вы имеете в виду,
 вы, в общем, здесь останетесь навеки».

«За что?! а впрочем, следует в узде
 держать себя... нет выхода другого».
 «И кликнуть Горчакова». «О звезде
 с ним можно побеседовать». «Толково».
 «Везде есть плюсы». «Именно: везде».
 «И сам он вездесущ, как Иегова;
 хотя он и доносит». «На гвозде,
 как правило, и держится подкова».
 «Как странно Горбунову на кресте
 рассчитывать внизу на Горчакова».

«Зачем преувеличивать?» «К чему,
 милейший, эти мысли о Голгофе?»
 «Но это — катастрофа». «Не пойму:
 вы вечность приравняли к катастрофе?»
 «Он вечности не хочет потому,
 что вечность — точно пробка в полуштофе».
 «Да, все это ему не по уму».
 «Эй, Горбунов, желаете ли кофе?»
 «Почто меня покинул!» «Вы к кому
 вызываете?» «Опять о Горчакове»

тоскует он». «Не дочка, не жена,
 а Горчаков!» «Все дело в эгоизме».
 «Да Горчаков ли?» «Форма не важна.
 Эй, Горбунов, а ну-ка, покажись мне.
 Твоя, ты знаешь, участь решена».
 «А Горчаков?» «Предайся укоризне:
 отныне вам разлука суждена.
 Отпустим. Не вздыхай об этом слизне».
 «Отныне, как обычно после жизни,
 начнется вечность». «Просто тишина».

X

Разговор на крыльце

«Огромный город в сумраке густом».
 «Расчерченная школьная тетрадка».
 «Стоит огромный сумасшедший дом».
 «Как вакуум внутри миропорядка».
 «Фасад скрывает выстуженный двор,
 заваленный сугробами, дровами».
 «Не есть ли это тоже разговор,
 коль скоро все описано словами?»
 «Здесь — люди, и сошедшие с ума
 от ужасов — утробных и загробных».
 «А сами люди? Именно сама
 возможность называть себе подобных
 людьми?» «Но выражение их глаз?
 Конечности их? Головы и плечи?»
 «Вещь, имя получившая, тотчас
 остановится немедля частью речи».
 «И части тела?» «Именно они».
 «А место это?» «Названо же домом».
 «А дни?» «Поименованы же дни».
 «О, все это становится Содомом

слов алчущих! Откуда их права?»
 «Тут имя прозвучало бы зловеще».

«Как быстро разбухает голова
 словами, пожирающими вещи!»
 «Бесспорно, это голову кружит».
 «Как море — Горбунову; нездорово».
 «Не море, значит, на берег бежит,
 а слово надвигается на слово».
 «Слова — почти подобие мощей!»
 «Коль вещи эти где-нибудь да висли...
 Названия — защита от вещей».
 «От смысла жизни». «В некотором смысле».
 «Ужель и от страдания Христа?»
 «От всякого страдания». «Бог с вами!»
 «Он сам словами пользовал уста...
 Но он и защитил себя словами».
 «Тем, собственно, пример его и вещь!»
 «Гарантия, что в море — не утонем».
 «И смерть его — единственная вещь
 двузначная». «И, стало быть, синоним».

«Но вечность-то? Иль тоже на столе
 стоит она сказалом в казакине?»
 «Единственное слово на земле,
 предмет не поглотившее поныне».
 «Не это ли защита от словес?»
 «Едва ли». «Осеняющийся Крестным
 Знаменем спасется». «Но не весь».
 «В синониме не более воскреснем».
 «Не более». «А ежели в любви?
 Она — сопротивленью суесловью».
 «Вы либо небожитель, либо вы
 мешаєте потенцию с любовью».
 «Нет слова, столь лишенного примет».
 «И нет непроницаемой покровы,
 столь полно поглотившего предмет,
 и более щемящего, как слово».
 «Но ежели взглянуть со стороны,
 то можно, в общем, сделать замечанье:

и слово — вещь. Тогда мы спасены!»
 «Тогда и начинается молчанье.

Молчанье — это будущее дней,
 катящихся навстречу нашей речи,
 со всем, что мы подчеркиваем в ней,
 с присутствием прощания при встрече.
 Молчанье — это будущее слов,
 уже пожравших гласными всю вечность,
 страшущуюся собственных углов;
 волна, перекрывающая вечность.
 Молчанье есть грядущее любви;
 пространство, а не мертвая помеха,
 лишаящее бьющийся в крови
 фальцет ее и отклика, и эха.
 Молчанье — настоящее для тех,
 кто жил до нас. Молчание — как сводня,
 в себе объединяющая всех,
 в глаголющее вхожая сегодня.
 Жизнь — только разговор перед лицом
 молчанья». «Пререкания движений».
 «Речь сумерек с расплывшимся концом».
 «И стены — воплощенье возражений».

«Огромный город в сумраке густом».
 «Речь хаоса, изложенная кратко».
 «Стоит огромный сумасшедший дом,
 как вакуум внутри миропорядка».
 «Проклятие, как лует из углов!»
 «Мой слух твое проклятие не колет:
 не жизнь передо мной — победа слов».
 «О как из существительных глаголет!»
 «Так птица вылетает из гнезда,
 гонимая заботами о харче».
 «Восходит над равниною звезда
 и ищет собеседника поярче».
 «И самая равнина, сколько взор

охватывает, с медленностью почты
 поддерживает ночью разговор».
 «Чем именно?» «Неровностями почвы».
 «Как различить ночных говорунов,
 хоть смысла в этом нету никакого?»
 «Когда повыше — это Горбунов,
 а где пониже — голос Горчакова».

XI

Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось?» «Как всегда».
 «Тогда я и не спрашиваю». «Так-то,
 проснулось чувство — как его? — стыда».
 «Скорее, чувство меры или такта».
 «Хорош!» «А что подделаешь? Среда
 засла. И зависимость от факта».
 «Какого?» «Попадания сюда».
 «Ты довести способен до инфаркта».
 Пошел ты вместе с фактами... туда».
 «Давай не будем прерывать контакта».

«Зачем тебе?» «А кто его». «Ну что ж...
 Так ты меня покинешь?» «После Пасхи».
 «Куда же ты отсюда пойдешь?»
 «Домой пойду». «А примут без опаски?»
 «Я думаю». «А где же ты живешь?»
 «Не предаю я адреса огласке».
 «Сдается мне, дружок, что это ложь».
 «Как хочешь». «Не рассказывай мне сказки».
 «Ты все равно ко мне не поадешь».
 «О чем ты?» «Я все больше о развязке».

«Тогда ты прав». «Я думаю, что прав».
 «Лишь думаешь?» «Ну, вырвалось случайно».
 Я сомневаться не имсю прав».
 «А чем займешься дома?» «Это тайна».
 «Подобный стиль беседовать избрав,

контакта хочешь? Странно чрезвычайно».
 «Не стиль таков, а, собственно, мой нрав».
 «А может, хочешь яблока ты?» «Дай, но
 не расколуюсь я, яблоко забрав...
 Поднять и бросить, вира или майна —
 вот род моих занятий основной.
 Все прочее считаю посторонним».
 «Глаза мне застилает пеленой!
 Поднять и бросить! — это же синоним
 всего происходящего со мной».
 «Ну, мы тебя, не бойся, не уроним».
 «Что значит «мы»?» «Не нервничай, больной.
 Хошь, научу гаданью по ладоням?»
 «Прости, я повернусь к тебе спиной».
 «Ужель мы нашу дружбу похороним?!

Ты должен быть, по-моему, добрей».
 «Таким я вышел, видимо, из чрева».
 «Но бытие...» «Чайку тебе?» «Налей...
 определяет...» «Греть?» «Без подогрева...
 сознание... Ну ладно, подогрей».
 «Прочел бы это справа ты налево».
 «Да что же я, по-твоему, — еврей?»
 «Еврей снял это яблоко со древа
 познания». «Ты, братец, дуралей.
 Сняла-то Ева». «Видно, он и Ева».

«А все ж, он был по-своему умен.
 Является создателем науки.
 И имя звучно». «Лучше без имен.
 Боюсь, не отхватили бы мне руки
 за этот смысловой цилиндромон».
 «Он тоже обрекал себя на муки.
 Теперь он вождь народов и племен».
 «Панмонголизм! как много в этом звуке».
 «Он тоже вроде был приговорен».
 «Наверно, не к разлуке». «Не к разлуке.

Что есть разлука?» «Знаешь, не пойму,
зачем тебе?» «Считай, для картотеки.
«Разлука — это судя по тому,
с кем расстаешься. Дело в человеке.
Где остаешься. Можно ль одному
остаться там, подавшись в имяреки?
Коль с близким, — отдаешь ему кому?
Надолго ли?» «А ежели навеки?»
«Тогда стоишь и пялишься во тьму
такую, как опущенные веки

обычно создают тебе для сна.
И вздрагиваешь изредка от горя,
поскольку мрака явственность ясна.
И ни тебе лисичек или моря.
«А ежели за окнами весна?
Весной все легче». «Спорно это». «Споря,
не забывай, что в окнах — белизна». «Тогда ты — словно вырванное с поля». «Земля не кровоточит, как десна». «Ну, видимо, на то Господня воля...

А что тебе разлука?» «Трепотня...
Ну, за спиной закрывшиеся двери.
И, если это день, сиянье дня». «А если ночь?» «Смотря по атмосфере.
Ну, может, свет горящего огня.
А нет — скамья пустующая в сквере». «Ты расставался с кем-нибудь, храня
воспоминанья?» «Лучше на примере». «Ну, что ты скажешь, потеряв меня?» «Вообще-то я не чувствую потери».

«Не чувствуешь? А все твоё нытьё
о дружбе?» «Это верно и поныне.
Пока у нас совместное житьё,
нам лучше, видно, вместе по причине

того, что бытиё...» «Да не на «ё»!
 Не бытиё, а бытие». «Да ты не —
 не придирайся... да, небытиё,
 когда меня не будет уж в помине,
 придаст однообразие равнине».
 «Ты, стало быть, молчание мое...»

XII

Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Я ужинал. А ты?»
 «Я ужинал». «И как тебе капуста?»
 «Щи оставляют в смысле густоты
 желать, конечно, лучшего: не густо».
 «А щи вообще, как правило, пусты.
 Есть даже поговорка». «Это грустно.
 Хоть уксуса чуть-чуть для остроты!»
 «Все — пусто». «Отличается на вкус-то,
 наверно, пустота от пустоты».
 «Не жвачки мне хотелось бы, а хруста».

«В такие нас забросило места,
 что ничего не остается, кроме
 как постничать задолго до Поста».
 «Ты говоришь о сумасшедшем доме?»
 «Да, наша география проста».
 «А что потом?» «Ты вечно о потом'е!
 Когда — потом?» «По снятии с креста».
 «О чем ты?!» «Отнесись как к идиоме».
 «Положат хоть лаврового листа».
 «А разведут по-прежнему на бrome».

«Да, все это не кончится добром.
 Бром вреден — так я думаю — здоровью».
 «И волосы вылазят. Это — бром!
 Ты приглядишься к любому изголовью:
 Бабанов растает с серебром,

Мицкевич с высыпающей бровью.
 И у меня на темени разгром.
 Он медленно приводит к малокровью». «Бром — стенка между бесом и ребром, чтоб мы мозги не портили любовью. Я в армии глотал его». «Один?» «Всей армией. Мы выдумали слово. Он назывался «противостоин». Какая с ним Уланова-Орлова!» «Я был брюнет, а делаюсь блондин. Пробор разрушен! Жалкая основа... А ткани нет... не вышло до седин дожить...» «Не забывай же основного». «Чего не забывать мне, господин?» «Быть может, не потребуются снова».

«Кто?» «Кудри». «Вероятно». «Не дрожи». «Мне холодно». «Засунул бы ты руки под одеяло». «Правильно». «Скажи, что есть любовь?» «Сказал...» «Но в каждом звуке другие рубежи и этажи». «Любовь есть предисловие к разлуке». «Не может быть!» «Я памятником лжи согласен стать, чтоб правнуки и внуки мне на голову клали!» «Не блажи». «Я это, как и прочее, от скуки».

«Проклятие, как дует от окна». «Залеплено замазкой». «Безобразно. Смотри, и батарея холодна!» «Здесь вообще и холодно и грязно... Смотри, звезда над деревом видна — без телескопа». «Видно и на глаз, но звезда не появляется одна». «Я вдруг подумал — но, конечно, праздно, — что если крест да распилить бы на дрова, взойдет ли дым крестообразно?»

«Ты спятил!» «Я не спятил, а блюду
 твой интерес». «Похвальная сердечность.
 Но что имеешь, собственно, в виду?»
 «Согреть окоченевшую конечность».
 «Да, все мои конечности во льду».
 «Я прав». «Но в этом есть бесчеловечность.
 Сложи поленья лучше как звезду».
 «Звезда, ты прав, напоминает вечность;
 не то что крест, к великому стыду».
 «Не вечность, а дурную бесконечность».

«Который час?» «По-видимому, ночь».
 «Молю, не начинай о Зодиаке».
 «Снаружи и жена моя, и дочь.
 Что о любви, то верно и о браке».
 «Я тоже поджениться бы не прочь.
 А вот тебе не следовало». «Паки
 и паки я гляжу, тебе невмочь,
 что я женат». «Женился бы на мраке!»
 «Ну, я к однообразью неохоч.
 В семье есть ямы, есть и буераки».

«Который час?» «Да около ноля».
 «О, это поздно». «Не имея вкуса
 к цифири, я скажу тебе, что для
 меня все «о» — предшественницы плюса».
 «Ну, дали мои губы кругалая...
 То ж следствие зевоты и прикуса.
 Чего ты добиваешься, валя
 все в кучу?» «Недоступности Эльбруса».
 «А соразмерной впадины земля
 не создала?» «Отпраздновала труса».

«Уж если размышляешь о горе,
 то думай о Голгофе, по причине
 того, что уже март в календаре,
 и я исчезну где-нибудь в лощине».

«Иль в облаке сокрывшись, как в чадре,
сыграешь духа в этой чертовщине».
«На свой аршин ты меряешь, тире,
твоей двуглавой снеговой вершине
не уместиться ввек в моем аршине,
сжимающем сугробы во дворе».

ХIII

Разговоры о море

«Твой довод мне бессмертие сулит.
Но я, твоим пророчествам на горе,
уже наполовину инвалид.
Как снов моих прожектор в коридоре,
твой светоч мою тьму не веселит...
Но это не в укор и не в укор
все дело. То есть, пусть его горит!..
В открытом и в смежающемся взоре
все время что-то мощное бурлит,
как будто море. Думаю, что море».

«Больница. Ночь. Враждебная среда.
Внимать я не могу тебе без дрожи
от холода, но также от стыда
за светоч. Ибо море — это все же
есть впадина. Однако же туда
я не сойду, хоть истина дороже...
Но я не причиню тебе вреда!
Куда уж больше! Видимо, ты тоже
не столь уверен, море ли... Беда.
На что все это, Господи, похоже?»

«Пожалуй, море... Чайки на молу
над бабой, в них швыряющейся коркой.
И ветер треплет драную полу,
хлеца волнообразною оборкой
ей туфли... И стоит она в пыли

визгливой битвы, с выбившейся челкой,
швыряет хлеб и пялится во мглу...
Как будто, став внезапно дальнзоркой,
высматривает в Турции пчелу».

«Да, это море. Именно оно.
Пучина бытия, откуда все мы,
как витязи, явились так давно,
что, не коснись ты снова этой темы,
забыл бы я, что существует дно
и горизонт, и прочие системы
пространства, кроме той, где суждено
нам видеть только крашенные стены
с лиловыми их полосами; но
умеющие слышати, да немы».

«Есть в жизни нечто большее, чем мы,
что греет нас, само себя не грея,
что громоздит на впадины холмы
— хотя бы и при помощи Борея,
друг другу их несущего взаймы.
Я чувствую, что шествую во сне я
ступеньками, ведущими из тьмы
то в бездну, то в преддверье эмпирея,
один, среди цветущей бахромы —
бессонным эскалатором Нерее».

«Но море слишком чуждая среда,
чтоб верить в чьи-то странствия по водам.
Конечно, если не было там льда.
Похоже, Горбунов, твоим невзгодам
конца не видно. Видно, на года,
как вся эта история с исходом,
рассчитаны они... Невесть куда
все дальше побредешь ты с каждым годом,
туда, где с небом соткана зода.
К кому воззвать под этим небосводом?»

«Для этого душа моя слаба.
 Я волны, а не крашенные наши
 простенки узрю всюду, где судьба
 прибьет меня — от Рая до парани.
 И это, Горчаков, не похвальба:
 в таком водонебесном сралаше
 о чем бы и была моя мольба?
 Для слышати умеющего краше
 валов артиллерийская пальба,
 чем слезное моление о чаше».

«Но это — грех!.. да что же я? Браня
 тебя, забыл о выходке с дровами...
 Мне помнится, ты спрашивал меня,
 что снится мне. Я выразил словами,
 и я сказал, что сон — наследье дня,
 а ты назвал лисички островами.
 Я это говорю тебе, клоня
 к тому, что жестко нам под головами.
 Теперь ты видишь море — трепотня!
 И тот же сон, хоть с большими правами».

«А что есть сон?» «Основа всех основ».
 «И мы в него впадаем, словно реки».
 «Мы в темноту впадаем, и хренов
 твой вымысел. Что спрашивать с калеки!»
 «Сон — выход из потемок». «Горбунов!
 В каком живешь, ты забываешь, веке.
 Твой сон не нов!» «И человек не нов».
 «Зачем ты говоришь о человеке?»
 «А человек есть выходец из снов».
 «И что же в нем решающее?» «Веки.

Закроешь их и видишь темноту».
 «Хотя бы и при свете?» «И при свете...
 И вдруг заметишь первую черту.
 Одна, другая... третья на примете.

В ушах шумит и холодно во рту.
 Потом бегут по набережной дети,
 и чайки хлеб хватают на лету...»
 «А нет ли там меня, на парашуте?»
 «И все, что вижу я в минуту ту,
 реальнее, чем ты на табурете».

XIV

Разговор в разговоре

«Но это — бред! Ты слышишь, это бред!
 Поди сюда, Бабанов, ты — свидетель!
 Смотри: вот я встаю на табурет!
 На мне халат без пуговиц и петель!
 Ну, Горбунов, узрел меня ты?» «Нет».
 «А цвет кальсон?» «Ей-Богу, не заметил».
 «Сейчас я размозжу тебе портрет!
 Ну, Горбунов, считай, поднялся ветер!
 Сейчас из моря будет винегрет!
 Ты слышишь, гад?» «Да я уже ответил».

«Ах так! Так пустим в дело кулаки!
 Учить, учить приходится болванов!
 На, получай! А ну-ка, прореки,
 кто вдарил: Горчаков или Бабанов?»
 «По-моему, Гор-банов». «Ты грехи
 мне отпускаешь, вижу я! Из кранов
 сейчас польет твой окиян!» «Хи-хи».
 «А ты что ржешь?! У, скопище баранов!»
 «Чего вы расшумелись, старики?»
 «Уйди, Мицкевич!» «Я из ветеранов,

и я считаю, ежели глаза
 чувак закрыл, — завязывай; тем боле,
 что ночь уже». «Да я и врезал за,
 за то, что он закрыл их не от боли».
 «Сказал тебе я: жми на тормоза».
 «Ты что, Мицкевич? Охренел ты, что ли?»

Да на кого ты тянешь, стрекоза?»
 «Я пасть те разорву!» «Ой-ой, мозоли!»
 «Эй, мужики, из-за чего буза?»
 «Да пес поймет». «На хвост кому-то соли

насыпали». «Атас, идут врачи!»
 «В кровати, живо!» «Я уже в постели!»
 «Ты, Горбунов, закройся и молчи,
 как будто спишь». «А он и в самом деле
 уже заснул». «Атас, звенят ключи!»
 «Заснул? Не может быть! Вы обалдели!»
 «Заткнись, кретин!» «Бабанов, не дрочи».
 «Оставь его». «Я, правда, еле-еле».
 «Ну, Горбунов, попробуй настучи».
 «Да он заснул». «Ну, братцы, залетели».

«Как следует приветствовать врачей?»
 «Вставанием... вставайте, раскоряки!»
 «Есть жалобы у вас насчет харчей?»
 «Я слышал шум, но я не вижу драки».
 «Какая драка, свет моих очей?»
 «Медбрат сказал, что здесь дерутся». «Враки».
 «Ты не юли мне». «Чей это ручей?»
 «Да это ссака». «Я же не о ссаке».
 Не из чего, я спрашиваю — чей?»
 «Да, чей, орлы?» «Кубанские казаки».

«Мицкевич!» «Ась?» «Чтоб вытереть, аспид!»
 «Да, мы, врачи, заботимся о быте».
 «А Горбунов что не встает?» «Он спит».
 «Он, значит, спит, а вы еще не спите».
 «Сейчас ложимся». «Верно, это стыд».
 «Ну, мы пошли». «Смотрите, не храпите».
 «Чтоб слышно, если муха пролетит!»
 «Мне б на оправку». «Утром, потерпите».
 «Ты, Горчаков, ответственный за быт».
 «Да, вот вам новость: спутник на орбите».

«Ушли». «Эй, Горчаков, твоя моча?»
 «Иди ты на...» «Ну, закрываем глазки».
 «На Пасху хорошо бы кулича».
 «Да, разговеться. Маслица, колбаски...»
 «Чего же не спросил ты у врача? —
 Ты мог бы это сделать без опаски:
 он спрашивал». «Забыл я сгоряча».
 «Заткнитесь, вы. Заладили о Пасхе».
 «Глянь, Горчаков-то, что-то бормоча,
 льнет к Горбунову». «Это для отмазки».

«Ты вправду спишь? Да, судя по всему,
 ты вправду спишь... Как спутались все пряди...
 Как все случилось, сам я не пойму.
 Прости меня, прости мне, Бога ради.
 Постой, подушку дай приподниму...
 Удобней так?... Я сам с собой в разладе.
 Прости... мне это все не по уму.
 Спи... если вправду говорить о взгляде,
 тут задержаться не на чем ему.
 Тут всё преграда. Только на преграде.

Спи, Горбунов. Пока труба отбой
 не пропоет... Всем предпочту наградам
 стеречь твой сон... а впрочем, с ней, с трубой!
 Ты не привык, а я привык к преградам.
 Прости меня с моею похвальбой.
 Прости меня со всем моим разладом...
 Спи, спи, мой друг. Я посижу с тобой.
 Не над тобой, не под — а просто рядом.
 А что до сроков — я прожду любой,
 пока с тобой не повстречаюсь взглядом...

Что видишь? Море? Несколько морей?
 И ты бредешь сквозь волны коридором...
 И рыбы молча смотрят из дверей...
 Я — за тобой... но тотчас перед взором

всплывают мириады пузырей...
Мне не пройти, не справиться с напором...
Что ты сказал?! Почудилось... Скорей
всего, я просто брежу разговором...
Смотри-ка, как бесчинствует Борей:
подушка смята, конечно с пробором...»

1965 — 1968

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ В ЯЛТЕ

Сухое левантинское лицо,
упрятанное оспинками в бачки.
Когда он ищет сигарету в пачке,
на безымянном тусклое кольцо
внезапно преломляет двести ватт,
и мой хрусталик вспышки не выносит;
я щурюсь: и тогда он произносит,
глотаю дым при этом, «виноват».

Январь в Крыму. На черноморский брег
зима приходит как бы для забавы:
не в состоянии удержаться снег
на лезвиях и остриях агавы.
Пустуют рестораны. Дымят
ихтиозавры грязные на рейде,
и прелых лавров слышен аромат.
«Налить вам этой мерзости?» «Налейте».

Итак — улыбка, сумерки, графин.
Вдали буфетчик, стискивая руки,
дает круги, как молодой дельфин
вокруг хамсой наполненной фелюги.
Квадрат окна. В горшках — желтофиоль.
Снежинки, проносящиеся мимо.
Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.

Январь 1969

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Потому что искусство поэзии требует слов,
я — один из глухих, облысевших, угрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой, —
не желая насиловать собственный мозг,
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал
в этих грустных краях, чей эпитафия — победа зеркал,
при содействии луж порождает эффект изобилья.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, —
это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны,
стены тюрем, пальто, туалеты невест белизны
новогодней, напитки, секундные стрелки.
Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;
пуританские нравы. Белье. И в руках скрипачей —
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе, но их
 немота вынуждает нас как бы к созданию своих
 этикеток и касс. И пространство торчит преискурантом.
 Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах,
 свойства тех и других оно ищет в сырых овощах.
 Кочет внемлет курантам.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
 к сожалению, трудно. Красавице платье задрал,
 видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
 И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
 но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
 тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей,
 то ль пятерка шестых остающихся в мире частей
 чересчур далека. То ли некая добрая фея
 надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу.
 Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу —
 да чешу котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом,
 то ли дернуть отсюдова по морю новым Христом.
 Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза,
 паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от стыда:
 как и челн на воде, не оставит на рельсах следа
 колесо паровоза...

Что же пишут в газетах в разделе «из зала суда»?
 Приговор приведен в исполнение. Взглянувши сюда,
 обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе,
 как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены,
 но не спит. Ибо брезговать кумполом сны
 продырявленным вправо.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те
 времена, неспособные в общей своей слепоте

отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек.
Белоглазая чужь дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдоц полно, только не с кем стола вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен — это зоркость к вещам тупика.
А ле по древу умом растекаться пристало пока,
но плевкам по стене. И не князя будить — динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждуть топора
да зеленого лавра.

Декабрь 1969

ИЗ «ШКОЛЬНОЙ АНТОЛОГИИ»

А. ФРОЛОВ

Альберт Фролов, любитель тишины.
Мать штемпелем стучала по конвертам
на почте. Что касается отца,
он пал за независимость чухны,
успев продлить фамилию Альбертом,
но не видав Альбертова лица.

Сын гений свой воспитывал в тиши.
Я помню эту шишку на макушке:
он сполз на зоологии под стол,
не выяснив отсутствия души
в совместно распатроненной лягушке.
Что позже обеспечило простор

полету его мыслей, каковым
он предавался вплоть до института,
где он вступил с архангелом в борьбу.
И вот, как согрешивший херувим,
он пал на землю с облака. И тут-то
он обнаружил под рукой трубу.

Звук — форма продолженья тишины,
подобье развевающейся ленты.
Солируя, он скашивал зрочки
на раструб, где мерцали, зажжены
софитами, — пока аплодисменты
их там не задували — светлячки.

Но то бывало вечером, а днем —
 днем звезд не видно. Даже из колодца.
 Жена ушла, не выстирав носки.
 Старуха-мать заботилась о нем.
 Он начал пить, впоследствии — колоться
 черт знает чем. Наверное, с тоски,

с отчаянья — но дьявол разберет.
 Я в этом, к сожалению, не сведущ.
 Есть и другая, кажется, шкала:
 когда играешь, видишь наперед
 на восемь тактов — ампулы ж, как светоч,
 шестнадцать озаряли... Зеркала

дворцов культуры, где его состав
 играл, вбирали хмуро и учтиво
 черты, экземой траченные. Но
 потом, перевоспитывать устав,
 его, за разложение коллектива,
 уволили. И, выдавив: «говно!»,

он, словно затухающее «ля»,
 не сделав из дальнейшего маршрута
 досужих достояния очес,
 как строчка, что влезает на поля,
 вернее — доведя до абсолюта
 идею увольнения, исчез.

*

Второго января, в глухую ночь,
 мой теплоход ошвартовался в Сочи.
 Хотелось пить. Я двинул наугад
 по переулкам, уводившим прочь
 от порта к центру, и в разгаре ночи
 набрел на ресторацию «Каскад».

Шел Новый Год. Поддельная хвоя
 свисала с пальм. Вдоль столиков кружился

грузинский сброд, поющий «Тбилисо».
 Везде есть жизнь, и тут была своя.
 Услышав соло, я насторожился
 и поднял над бутылками лицо.

«Каскад» был полон. Чудом отыскав
 проход к эстраде, в хаосе из лязга
 и запахов я сгорбленной спине
 сказал: «Альберт» и тронул за рукав;
 и страшная, чудовищная маска
 оборотилась медленно ко мне.

Сплошные стружья. Высохшие и
 набрякшие. Лишь слипшиеся пряди,
 нетронутые стружьями, и взгляд
 принадлежали школьнику, в мои,
 как я в его, косившему тетради
 уже двенадцать лет тому назад.

«Как ты здесь оказался в несезон?»
 Сухая кожа, сморщенная в виде
 коры. Зрачки — как белки из дупла.
 «А сам ты как?» «Я, видишь ли, Язон.
 Язон, застрявший на зиму в Колхиде.
 Моя экзема требует тепла...»

Потом мы вышли. Редкие огни,
 небес предотвращавшие с бульваром
 слияние. Квартальный — осетин.
 И даже здесь держащийся в тени
 мой провожатый, человек с фугляром.
 «Ты здесь один?» «Да, думаю, один».

Язон? Навряд ли. Иов, небеса
 ни в чем не упрекающий, а просто
 сливающийся с ночью на живот
 и смерть... Береговая полоса,

и острый запах водорослей с Оста,
незримой пальмы шорохи — и вот

все вдруг качнулось. И тогда во тьме
на миг блеснуло что-то на причале.
И звук поплыл, вплетаясь в тишину,
вдогонку удалявшейся корме.

И я услышал полную печали,
«Высокую-высокую луну».

РАЗГОВОР С НЕБОЖИТЕЛЕМ

Здесь, на земле,
где я впадал то в истовость, то в ересь,
где жил, в чужих воспоминаньях греясь,
как мышь в золе,
где хуже мыши
глодал пегит родного словаря,
тебе чужого, где, благодаря
тебе, я на себя взираю свыше,

уже ни в ком
не видя места, коего глаголом
коснуться мог бы, не владея горлом,
давась кивком
звонкоголосой падали, слюной
кропя уста взамен кастальской влаги,
кренясь Пизанской башнею к бумаге
во тьме ночной,

тебе твой дар
я возвращаю — не зарыл, не пропил;
и, если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,
что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена.

Не стану жечь
 тебя глаголом, исповедью, просьбой,
 проклятыми вопросами — той оспой,
 которой речь
 почти с пелен
 заражена — кто знает? — не тобой ли;
 надежным то есть образом от боли
 ты удален.

Не стану ждать
 твоих ответов, Ангел, поелику
 столь плохо представляемому лику,
 как твой, под стать,
 должно быть, лишь
 молчанье — столь просторное, что эха
 в нем не сподобятся ни всплески смеха,
 ни вопль: «Услышь!»

Вот это мне
 и блазнит слух, привыкший к разнобою,
 и облегчает разговор с тобою
 наедине.
 В Ковчег птенец
 не возвратившись, доказует то, что
 вся вера есть не более чем почта
 в один конец.

Смотри ж, как, наг
 и сир, жлоблюсь о Господе, и это
 одно тебя избавит от ответа.
 Но это — подтверждение и знак,
 что в нищете
 влачащий дни не устрашится кражи,
 что я кладу на мысль о камуфляже.
 Там, на кресте,

не возоплю: «Почто меня оставил?!»
 Не превращу себя в благую весть!
 Поскольку боль — не нарушение правил:
 страданье есть
 способность тел,
 и человек есть испытатель боли.
 Но то ли свой ему неведом, то ли
 ее предел.

*

Здесь, на земле,
 все горы — но в значении их узком —
 кончаются не пиками, но спуском
 в кромешной мгле,
 и, сжав уста,
 стигматы завернув свои в дерюгу,
 идешь на вещи по второму кругу,
 сойдя с креста.

Здесь, на земле,
 от нежности до умоисступленья
 все формы жизни есть приспособленье.
 И в том числе
 взгляд в потолок
 и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,
 в котором нас разыскивает, скажем,
 один стрелок.

Как на сопле,
 все виснет на крюках своих вопросов,
 как вор трамвайный, бард или философ —
 здесь, на земле,
 из всех углов
 несет, как рыбой, с одесной и с левой
 слиянием с природой или с девой
 и башней слов!

Дух-исцелитель!
 Я из бездонных мозеровских блюд
 так нахлебался варева минут
 и римских литер,
 что в жадный слух,
 который прежде не был привередлив,
 не входят щебет или шум деревьев —
 я нынче глух.

О нет, не помощь
 зову твою, означенная высь!
 Тех нет объятий, чтоб не разошлись
 как стрелки в полночь.
 Не жгу свечи,
 когда, разжав железные объятия,
 будильники, завернутые в платья,
 гремят в ночи!

И в этой башне,
 в правнучке вавилонской, в башне слов,
 все время недостроенной, ты кров
 найти не дашь мне!
 Такая тишь
 там, наверху, встречает золоторотца,
 что, на чердак карабкаясь, летишь
 на дно колодца.

Там, наверху —
 услышь одно: благодарю за то, что
 ты отнял все, чем на своем веку
 владел я. Ибо созданное прочно,
 продукт труда
 есть пища вора и прообраз Рая,
 верней — добыча времени: теряя
 (пусть навсегда)

что-либо, ты
 не смей кричать о преданной надежде:
 то Времени, невидимые прежде,
 в вещах черты
 вдруг проступают, и теснятся грудь
 от старческих морщин; но этих линий
 их не разгладить, тающих, как иней,
 коснись их чуть.

Благодарю...

Верней, ума последняя крупица
 благодарит, что не дал прилепиться
 к тем куцям, корнусам и словарю,
 что ты не в масть
 моим задаткам, комплексам и формам
 зашел — и не предал их жалким формам
 меня во власть.

*

Ты за утрату
 горазд все это отомщеньем счесть,
 моим приспособленьем к циферблату,
 борьбой, слияньем с Временем — Бог весть!
 Да полно, мне ль!
 А если так — то с временем неблизким,
 затем что чудится за каждым диском
 в стене — туннель.

Ну что же, рой!
 Рой глубже и, как вырванное с мясом,
 шей сердцу страх пред грустной порой,
 пред смертным часом.
 Шей бездну мук,
 старайся, перебарщивай в усердьи!
 Но даже мысль о — как его! — бессмертьи
 есть мысль об одиночестве, мой друг.

Вот эту фразу
 хочу я прокричать и посмотреть
 вперед — раз перспектива умереть
 доступна глазу —
 кто издали
 откликнется? Последует ли эхо?
 Иль ей и там не встретится помеха,
 как на земли?

Ночная тишь...
 Стучит башкой об стол, заснув, заочник.
 Кирпичный будоражит позвоночник
 печная мышь.
 И за окном
 толпа деревьев в деревянной раме,
 как легкие на школьной диаграмме,
 объята сном.

Все откололось...
 И время. И судьба. И о судьбе...
 Осталась только память о себе,
 негромкий голос.
 Она одна.
 И то — как шлак перегоревший, гравий,
 за счет каких-то писем, фотографий,
 зеркал, окна,

исподтишка...
 И горько, что не вспомнить основного!
 Как жаль, что нету в Христианстве бога —
 пускай божка —
 воспоминаний, с пригоршней ключей
 от старых комнат — идолица с ликом
 старьевщика — для коротанья слишком
 глухих ночей.

Ночная тишь.
 Вороньи гнезда, как каверны в бронхах.
 Отрепья дыма роются в обломках
 больничных крыш.
 Любая речь
 безадресна, увы, об эту пору —
 чем я сумел, друг-небожитель, спору
 нет, пренебречь.

Страстная. Ночь.
 И вкус во рту от жизни в этом мире,
 как будто наследил в чужой квартире
 и вышел прочь!
 И мозг под током!
 И там, на тридевятом этаже
 горит окно. И, кажется, уже
 не помню толком,

о чем с тобой
 витийствовал — верней, с одной из кукол,
 пересекающих полночный купол.
 Теперь отбой,
 и невдомек,
 зачем так много черного на белом?
 Гортань исходит грифелем и мелом,
 и в ней — комок

не слов, не слез,
 но странной мысли о победе снега —
 отбросов света, падающих с неба, —
 почти вопрос.
 В мозгу горчит,
 и за стеною в толщину страницы
 вопит младенец, и в окне больницы
 старик торчит.

Апрель. Страстная. Все идет к весне.

Но мир еще во льду и в белизне.

И взгляд младенца,
еще не начинавшего шагов,
не допускает таянья снегов.

Но и не деться
от той же мысли — задом наперед —
в больнице старику в начале года:
он видит снег и знает, что умрет
до таянья его, до ледохода.

1970

POST AETATEM NOSTRAM

А. Я. Сергееву

I

«Империя — страна для дураков».
 Движенье перекрыто по причине
 приезда Императора. Толпа
 теснит легионеров — песни, крики;
 но паланкин закрыт. Объект любви
 не хочет быть объектом любопытства.

В пустой кофейне позади дворца
 бродяга-грек с небритым инвалидом
 играют в домино. На скатертях
 лежат отбросы уличного света,
 и отголоски ликования мирно
 шевелят шторы. Проигравший грек
 считает драхмы; победитель просит
 яйцо вкрутую и щепотку соли.

В просторной спальне старый откупщик
 рассказывает молодой гетере,
 что видел Императора. Гетера
 не верит и хохочет. Таковы
 прелюдии у них к любовным играм.

II

ДВОРЕЦ

Изваянные в мраморе сатир
 и нимфа смотрят в глубину бассейна,
 чья гладь покрыта лепестками роз.

Наместник, босиком, собственноручно
 кровавит морду местному царю
 за трех голубок, угоревших в тесте
 (в момент разделки пирога взлетевших,
 но тотчас же попадавших на стол).
 Испорчен праздник, если не карьера.

Царь молча извивается на мокром
 полу под мощным, жилистым коленом
 Наместника. Благоуханье роз
 туманит стены. Слуги безучастно
 глядят перед собой, как изваянья.
 Но в гладком камне отраженья нет.

В неверном свете северной луны,
 свернувшись у трубы дворцовой кухни,
 бродяга-грек в обнимку с кошкой смотрят,
 как два раба выносят из дверей
 труп повара, завернутый в рогожу,
 и медленно спускаются к реке.
 Шуршит щебенка.

Человек на крыше
 старается зажать кошачью пасть.

III

Покинутый мальчишкой брадобрей
 глядится молча в зеркало — должно быть,
 грустя о нем и начисто забыв
 намыленную голову клиента.
 «Наверно, мальчик больше не вернется».
 Тем временем клиент спокойно дремлет
 и видит чисто греческие сны:
 с богами, с кифаредами, с борьбой
 в гимнасиях, где острый запах пота
 щекочет ноздри.

Снявшись с потолка,
 большая муха, сделав круг, садится

на белую намыленную щеку
 заснувшего и, утопая в пене,
 как бедные пельтасты Ксенофонта
 в снегах армянских, медленно ползет
 через провалы, выступы, ущелья
 к вершине и, минуя жерло рта,
 взобраться норовит на кончик носа.

Грек открывает страшный черный глаз,
 и муха, взыв от ужаса, взлетает.

IV

Сухая послепраздничная ночь.
 Флаг в подворотне, схожий с конской мордой,
 жуёт губами воздух. Лабиринт
 пустынных улиц залит лунным светом:
 чудовище, должно быть, крепко спит.

Чем дальше от дворца, тем меньше статуй
 и луж. С фасадов исчезает лепка.
 И если дверь выходит на балкон,
 она закрыта. Видимо, и здесь
 ночной покой спасают только стены.
 Звук собственных шагов вполне зловец
 и в то же время беззащитен; воздух
 уже пронизан рыбою: дома
 кончаются.

Но лунная дорога
 струится дальше. Черная фелукка
 ее пересекает, словно кошка,
 и растворяется во тьме, дав знак,
 что дальше, собственно, идти не стоит.

V

В расклеенном на уличных щитах
 «Послании к властителям» известный,
 известный местный кифаред, кипя
 негодованьем, смело выступает

с призывом Императора убрать
(на следующей строчке) с медных денег.

Толпа жестикулирует. Юнцы,
седые старцы, зрелые мужчины
и знающие грамоте гетеры
единогласно утверждают, что
«такого прежде не было», — при этом
не уточняя, именно чего
«такого»:

мужества или холуйства.

Поэзия, должно быть, состоит
в отсутствии отчетливой границы.

Невероятно синий горизонт.
Шуршание прибоя. Растянувшись,
как ящерица в марте, на сухом
горячем камне, голый человек
луцит ворованный миндаль. Поодаль
два скованных между собой раба,
собравшиеся, видно, искупаться,
смеясь, друг другу помогают снять
свое тряпье.

Невероятно жарко;
и грек сползает с камня, закатив
глаза, как две серебряные драхмы
с изображеньем новых Диоскуров.

VI

Прекрасная акустика! Строитель
недаром вшей кормил семнадцать лет
на Лемносе. Акустика прекрасна.

День тоже восхитителен. Толпа,
отлившаяся в форму стадиона,
застыв и затаив дыханье, внемлет

той ругани, которой два бойца
друг друга осыпают на арене,
чтоб, распаясь, схватиться за мечи.

Цель состязанья вовсе не в убийстве,
но в справедливой и логичной смерти.
Законы драмы переходят в спорт.

Акустика прекрасна. На трибунах
одни мужчины. Солнце золотит
кудлатых львов правительственной логи.
Весь стадион — одно большое ухо.

«Ты падаль!» — «Сам ты падаль». —
«Мразь и падаль!»
И тут Наместник, чье лицо подобно
гноящемуся вымени, смеется.

VII

БАШНЯ

Прохладный полдень.
Теряющийся где-то в облаках
железный шпиль муниципальной башни
является в одно и то же время
громоотводом, маяком и местом
подъема государственного флага.
Внутри же — размещается тюрьма.

Подсчитано когда-то, что обычно —
в сатрапиях, во время фараонов,
у мусульман, в эпоху христианства —
сидело иль бывало казнено
примерно шесть процентов населения.
Поэтому еще сто лет назад
дед нынешнего цезаря задумал
реформу правосудья. Отменив

безнравственный обычай смертной казни,
 он с помощью особого закона
 те шесть процентов сократил до двух,
 обязанных сидеть в тюрьме, конечно,
 пожизненно. Неважно, совершил ли
 ты преступление или невиновен;
 закон, по сути дела, как налог.
 Тогда-то и воздвигли эту Башню.

Слепящий блеск хромированной стали.
 На сорок третьем этаже пастух,
 лицо просунув сквозь иллюминатор,
 свою улыбку посылает вниз
 пришедшей навестить его собаке.

VIII

Фонтан, изображающий дельфина
 в открытом море, совершенно сух.
 Вполне понятно: каменная рыба
 способна обойтись и без воды,
 как та — без рыбы, сделанной из камня.

Таков вердикт третейского суда.
 Чьи приговоры отличает сухость.

Под белой колоннадою дворца
 на мраморных ступеньках кучка смуглых
 вождей в измятых пестрых балахонах
 ждет появления своего царя,
 как брошенный на скатерти букет —
 заполненной водой стеклянной вазы.

Царь появляется. Вожди встают
 и потрясают копьями. Улыбки,
 объятия, поцелуи. Царь слегка
 смущен; но вот удобство смуглой кожи:
 на ней не так видны кровоподтеки.

Бродяга-грек зовет к себе мальчика.
 «О чем они болтают?» — «Кто, вот эти?» —
 «Ага». — «Благодарят его». — «За что?»
 Мальчишка поднимает ясный взгляд:
 «За новые законы против нищих».

IX З В Е Р И Н Е Ц

Решетка, отделяющая льва
 от публики, в чугунном варианте
 воспроизводит путаницу джунглей.

Мох. Капли металлической росы.
 Лиана, оплетающая лотос.
 Природа имитируется с той
 любовью, на которую способен
 лишь человек, которому не все
 равно, где заблудиться: в чаще или
 в пустыне.

X И М П Е Р А Т О Р

Атлет-легионер в блестящих латах,
 несущий стражу возле белой двери,
 из-за которой слышится журчанье,
 глядит в окно на проходящих женщин.
 Ему, торчащему здесь битый час,
 уже казаться начинает, будто
 не разные красавицы внизу
 проходят мимо, но одна и та же.

Большая золотая буква М,
 украсившая дверь, по сути дела,
 лишь прописная по сравнению с той,
 огромной и пунцовой от натуги,

согнувшейся за дверью над проточной
водою, дабы рассмотреть во всех
подробностях свое отображенье.

В конце концов, проточная вода
ничуть не хуже скульпторов, все царство
изображеньем этим наводнивших.

Прозрачная, журчащая струя.
Огромный, перевернутый Верзувий,
над ней нависнув, медлит с изверженьем.

Все вообще теперь идет со скрипом.
Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком.
Гребцы колотят веслами по суше,
и камни сильно обдирают борт.
Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!
Движенье есть, движенье происходит.
Мы все-таки плывем. И нас никто
не обгоняет. Но, увы, как мало
похоже это на былую скорость!
И как тут не вздохнешь о временах,
когда все шло довольно гладко.

Гладко.

XI

Светильник гаснет, и фитиль чадит
уже в потемках. Тоненькая струйка
всплывает к потолку, чья белизна
в крошечном мраке в первую минуту
согласна на любую форму света.
Пусть даже копоть.

За окном всю ночь
в неполотом саду шумит тяжелый
азиатский ливень. Но рассудок — сух.
Настолько сух, что, будучи охвачен

холодным бледным пламенем объятья,
воспламеняешься быстрее, чем лист
бумаги или старый хворост.

Но потолок не видит этой вспышки.

Ни копоты, ни пепла по себе
на оставляя, человек выходит
в сырую темень и бредет к калитке.
Но серебристый голос козодоя
велит ему вернуться.

Под дождем
он, повинувшись, снова входит в кухню
и, снявши пояс, высыпает на
железный стол оставшиеся драхмы.
Затем выходит.
Птица не кричит.

XII

Задумав перейти границу, грек
достал вместительный мешок и после
в кварталах возле рынка изловил
двенадцать кошек (почерней) и с этим
скребущимся, мяукающим грузом
он прибыл ночью в пограничный лес.

Луна светила, как она всегда
в июле светит. Псы сторожевые,
конечно, заливали все ущелье
тоскливым лаем: кошки перестали
в мешке скандалить и почти притихли.
И грек промолвил тихо: «В добрый час.

Афина, не оставь меня. Ступай
передо мной», — а про себя добавил:
«На эту часть границы я кладу
всего шесть кошек. Ни одну больше».

Собака не взберется на сосну.
 Что до солдат — солдаты суеверны.

Все вышло лучшим образом. Луна,
 собаки, кошки, суеверье, сосны —
 весь механизм сработал. Он взобрался
 на перевал. Но в миг, когда уже
 одной ногой стоял в другой державе,
 он обнаружил то, что упустил:

оборотившись, он увидел море.

Оно лежало далеко внизу.
 В отличие от животных, человек
 уйти способен от того, что любит
 (чтоб только отличаться от животных).
 Но, как слюна собачья, выдают
 его животную природу слезы:

«О, Таллатта!..»

Но в этом скверном мире
 нельзя торчать так долго на виду,
 на перевале, в лунном свете, если
 не хочешь стать мишенью. Вскинув ношу,
 он осторожно стал спускаться вниз,
 в глубь континента; и вставал навстречу

еловый гребень вместо горизонта.

1970

Примечания автора

Перевод заглавия: После нашей эры.

Диоскуры — Кастор и Поллукс (Кастор и Полидевк), в греческой мифологии символ нерасторжимой дружбы. Их изображение помещалось на греческих монетах. Греки классического периода считали богохульством чеканить изображения государей; изображались только боги или их символы; также — мифологические персонажи.

Лемнос — остров в Эгейском море, служил и служит местом ссылки.

Верзувий — от славянского «верзять».

Таллатта (греч.) — море.

ОДНОМУ ТИРАНУ

Он здесь бывал: еще не в галифе —
 в пальто из драпа: сдержанный, сутулый.
 Арестом завсегда таеф кафе
 покончив позже с мировой культурой,
 он этим как бы отомстил (не им,
 но Времени) за бедность, униженья,
 за скверный кофе, скуку и сраженья
 в двадцать одно, проигранные им.

И Время проглотило эту месть.
 Теперь здесь людно, многие смеются,
 гремят пластинки. Но пред тем, как сесть
 за столик, как-то тянет оглянуться.
 Везде пластмасса, никель — все не то:
 в пирожных привкус бромистого натра.
 Порой, перед закрытьем, из театра
 он здесь бывает, но инкогнито.

Когда он входит, все они встают.
 Одни — по службе, прочие — от счастья.
 Движением ладони от запястья
 он возвращает вечеру уют.
 Он пьет свой кофе — лучший, чем тогда,
 и ест рогалик, примостившись в кресле,
 столь вкусный, что и мертвые «о да!»
 воскликнули бы, если бы воскресли.

24 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА

И.С.

В Рождество все немного воляхвы.
 В продовольственных слякоть и давка.
 Из-за банки кофейной халвы
 производит осаду прилавка
 грудой свертков навьюченный люд:
 каждый сам себе царь и верблюдо.

Сетки, сумки, авоськи, кульки,
 шапки, галстуки, сбитые набок.
 Запах водки, хвои и трески,
 мандаринов, корицы и яблок.
 Хаос лиц, и не видно тропы
 в Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносчики скромных даров
 в транспорт прыгают, ломаются в двери,
 исчезают в провалах дворов,
 даже зная, что пусто в пещере:
 ни животных, ни яслей, ни Той,
 над Которою — нимб золотой.

Пустота. Но при мысли о ней
 видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
 Знал бы Ирод, что чем он сильней,
 тем верней, неизбежнее чудо.
 Постоянство такого родства —
 основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет — никому непонятно!
Мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь — звезда.

ПИСЬМА РИМСКОМУ ДРУГУ
ИЗ МАРЦИАЛА

* * *

Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги.

Дева тешит до известного предела —
дальше локтя не пойдешь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объять невозможно, ни измена!

* * *

Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство.

Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных —
лишь согласное гуденье насекомых.

* * *

Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он — деловит, но незаметен.
Умер быстро: лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.

Рядом с ним — легионер, под грубым кварцем.
 Он в сражениях Империю прославил.
 Столько раз могли убить! а умер старцем.
 Даже здесь не существует, Постум, правил.

* * *

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
 но с куриными мозгамихватишь горя.
 Если выпало в Империи родиться,
 лучше жить в глухой провинции у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.
 Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
 Говоришь, что все наместники — ворюги?
 Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

* * *

Этот ливень переждать с тобой, гетера,
 я согласен, но давай-ка без торговли:
 брать сестерций с покрывающего тела
 все равно, что drankу требовать у кровли.

Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
 Чтобы лужу оставлял я, не бывало.
 Вот найдешь себе какого-нибудь мужа,
 он и будет протекать на покрывало.

* * *

Вот и прожили мы больше половины.
 Как сказал мне старый раб перед таверной:
 «Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
 Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
 Разыщу большой кувшин, воды налью им...
 Как там в Ливии, мой Постум, — или где там?
 Неужели до сих пор еще воюем?

* * *

Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
 Худоцавая, но с полными ногами.
 Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.
 Жрица, Постум, и общается с богами.

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
 Или сливами. Расскажешь мне известья.
 Постелю тебе в саду под чистым небом
 и скажу, как называются созвездья.

* * *

Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
 долг свой давний вычитанию заплатит.
 Забери из-под подушки сбереженья,
 там немного, но на похороны хватит.

Поезжай на вороной своей кобыле
 в дом гетер под городскую нашу стену.
 Дай им цену, за которую любили,
 чтоб за ту же и оплакивали цену.

* * *

Зелень лавра, доходящая до дрожи.
 Дверь распахнутая, пыльное оконце.
 Стул покинутый, оставленное ложе.
 Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Понт шумит за черной изгородью пиний.
 Чье-то судно с ветром борется у мыса.
 На рассохшейся скамейке — Старший Плиний.
 Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

СРЕТЕНЬЕ

Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук
Мариин; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведено старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,

затем что глаза мои видели это
 дитя: он — Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,
 и слава Израиля в нем». — Симеон
 умолкнул. Их всех тишина обступила.

Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
 над их головами, слегка шелестя
 под сводами храма, как некая птица,
 что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина
 не менее странной, чем речь. Смущена,
 Мария молчала. «Слова-то какие...»

И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах твоих
 паденье одних, возвышенье других,
 предмет пререканий и повод к раздорам.

И тем же оружием, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя
 душа будет ранена. Рана сия
 даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
 в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
 Мария, сутулясь, и тяжестью лет
 согбенная Анна безмолвно глядели.

Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.
 Почти подгоняем их взглядами, он
 шел молча по этому храму пустому
 к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.
И образ младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропую
душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Март 1972

В ОЗЕРНОМ КРАЮ

В те времена в стране зубных врачей,
чьи дочери выписывают вещи
из Лондона, чьи стиснутые клещи
вздывают вверх на знамени ничей
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту
развалины почище Парфенона,
шпион, лазутчик, пятая колонна
гнилой цивилизации — в быту
профессор красноречия — я жил
в колледже возле Главного из Пресных
озер, куда из недорослей местных
был призван для вытягиванья жил.

Все то, что я писал в те времена,
сводилось неизбежно к многоточью.
Я падал, не расстегиваясь, на
постель свою. И ежели я ночью
отыскивал звезду на потолке,
она, согласно правилам сгоранья,
сбегала на подушку по щеке
быстрее, чем я загадывал желанье.

БАБОЧКА

I

Сказать, что ты мертва?
Но ты жила лишь сутки.
Как много грусти в шутке
Творца! едва
могу произнести
«жила» — единство даты
рожденья и когда ты
в моей горсти
рассыпалась, меня
смущает вычесть
одно из двух количеств
в пределах дня.

II

Затем, что дни для нас —
ничто. Всего лишь
ничто. Их не приколешь,
и пиццей глаз
не сделаешь: они
на фоне белом,
не обладая телом,
незримы. Дни,
они как ты; верней,
что может весить
уменьшенный раз в десять
один из дней?

III

Сказать, что вовсе нет
тебя? Но что же
в руке моей так схоже
с тобой? и цвет —
не плод небытия.
По чьей подсказке
и так кладутся краски?
Навряд ли я,
бормочущий комок
слов, чуждых цвету,
вообразить бы эту
палитру смог.

IV

На крылышках твоих
зрачки, ресницы —
красавицы ли, птицы —
обрывки чьих,
скажи мне, это лиц,
портрет летучий?
Каких, скажи, твой случай
частиц, крупниц
являет натюрморт:
вещей, плодов ли?
и даже рыбной ловли
трофей простерт.

V

Возможно, ты — пейзаж,
и, взявши лупу,
я обнаружу группу
нимф, пляску, пляж.
Светло ли там, как днем?
иль там уныло,
как ночью? и светило
какое в нем

взошло на небосклон?
 чьи в нем фигуры?
 Скажи, с какой природы
 был сделан он?

VI

Я думаю, что ты —
 и то, и это:
 звезды, лица, предмета
 в тебе черты.
 Кто был тот ювелир,
 что, бровь не хмурия,
 нанес в миниатюре
 на них тот мир,
 что сводит нас с ума,
 берет нас в клещи,
 где ты, как мысль о вещи,
 мы — вещь сама?

VII

Скажи, зачем узор
 такой был даден
 тебе всего лишь на день
 в краю озер,
 чья амальгама впрок
 хранит пространство?
 А ты — лишает шанса
 столь краткий срок
 попасть в сачок,
 затрепетать в ладони,
 в момент погони
 пленить зрачок.

VIII

Ты не ответишь мне
 не по причине
 застенчивости и не

со зла, и не
 затем, что ты мертва.
 Жива, мертва ли —
 но каждой Божьей твари
 как знак родства
 дарован голос для
 общенья, пенья:
 продления мгновенья,
 минуты, дня.

IX

А ты — ты лишена
 сего залога.
 Но, рассуждая строго,
 так лучше: на
 кой ляд быть у небес
 в долгу, в реестре.
 Не сокрушайся ж, если
 твой век, твой вес
 достойны немоты:
 звук — тоже бремя.
 Бесплотнее, чем время,
 беззвучней ты.

X

Не ощущая, не
 дожив до страха,
 ты вьешься легче праха
 над клумбой, вне
 похожих на тюрьму
 с ее удушьем
 минувшего с грядущим,
 и потому,
 когда летишь на луг
 желая корму,
 приобретает форму
 сам воздух вдруг.

XI

Так делает перо,
 скользя по глади
 расчерченной тетради,
 не зная про
 судьбу своей строки,
 где мудрость, ересь
 смешались, но доверясь
 толчкам руки,
 в чьих пальцах бьется речь
 вполне немая,
 не пыль с цветка снимая,
 но тяжесть с плеч.

XII

Такая красота
 и срок столь краткий,
 соединясь, догадкой
 кривят уста:
 не высказать ясней,
 что в самом деле
 мир создан был без цели,
 а если с ней,
 то цель — не мы.
 Друг-энтолог,
 для света нет иголок
 и нет для тьмы.

XIII

Сказать тебе «Прощай»?
 как форме суток?
 Есть люди, чей рассудок
 стрижет лишай
 забвенья; но взгляни:
 тому виною
 лишь то, что за спиною
 у них не дни

с постелью на двоих,
не сны дремучи,
не прошлое — но тучи
сестер твоих!

XIV

Ты лучше, чем Ничто.
Верней: ты ближе
и зримее. Внутри же
на все на сто
ты родственна ему.
В твоём полете
оно достигло плоти;
и потому
ты в сутолке дневной
достойна взгляда
как легкая преграда
меж ним и мной.

1972

НА СМЕРТЬ ДРУГА

Имяреку, тебе, — потому что не станет за труд из-под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима, как по тем же делам, потому что и с камня сотрут, так и в силу того, что я сверху и, камня помимо, чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса — на зооповой фене в отечестве белых головок, где на ощупь и слух наколол ты свои полюса в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок; имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от то ли Духа Святого, то ль поднятой пыди дворовой, похитителю книг, сочинителю лучшей из од на паденье А.С. в кружева и к ногам Гончаровой, словOVERЖЦУ, лжецу, пожирателю мелкой слезы, обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфodelей, белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы, одинокому сердцу и телу бесcчетных постелей — да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле, местных труб проходимду и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима. Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо, вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон, тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.

ДВАДЦАТЬ СОНЕТОВ К МАРИИ СТЮАРТ

I

Мари, шотландцы все-таки скоты.
В каком колене клетчатого клана
предвиделось, что двинешься с экрана
и оживишь, как статуя, сады?
И Люксембургский, в частности? Сюды
забрел я как-то после ресторана
взглянуть глазами старого барана
на новые ворота и в пруды.
Где встретил Вас. И в силу этой встречи,
и так как «все бывшее ожило
в отжившем сердце», в старое жерло
вложив заряд классической картечи,
я трачу что осталось русской речи
на Ваш анфас и матовые плечи.

II

В конце большой войны не на живот,
когда что было жарили без сала,
Мари, я видел мальчиком, как Сара
Леандр шла топ-топ на эшафот.
Меч палача, как ты бы не сказала,
приравнивает к полу небосвод
(см. светило, вставшее из вод).
Мы вышли все на свет из кинозала,
но нечто нас в час сумерек зовет
назад в «Спартак», в чьей плюшевой утробе

приятнее, чем вечером в Европе.
Там снимки звезд, там главная — брюнет,
там две картины, очередь на обе.
И лишнего билета нет.

III

Земной свой путь пройдя до середины,
я, заявившись в Люксембургский сад,
смотрю на затвердевшие седины
мыслителей, письменников; и взад-
вперед гуляют дамы, господины,
жандарм синее в зелени, усат,
фонтан мурлычет, дети голосят,
и обратиться не к кому с «иди на».
И ты, Мари, не покладая рук,
стоишь в гирлянде каменных подруг —
французских королей во время оно —
безмолвно, с воробьем на голове.
Сад выглядит как поместь Пантеона
со знаменитой «Завтрак на траве».

IV

Красавица, которую я позже
любил сильнее, чем Босуэла — ты,
с тобой имела общие черты
(шепчу автоматически «о, Боже»,
их вспоминая) внешние. Мы тоже
счастливой не составили четы.
Она ушла куда-то в макинтоше.
Во избежанье роковой черты,

я пересек другую — горизонта,
чье лезвие, Мари, острей ножа.
Над этой вещью голову держа
не кислорода ради, но азота,
бурлящего в раздувшемся зобу,
гортань... того... благодарит судьбу.

V

Число твоих любовников, Мари,
 превысило собою цифру три,
 четыре, десять, двадцать, двадцать пять.
 Нет для короны большего урона,
 чем с кем-нибудь случайно переспать.
 (Вот почему обречена корона;
 республика же может устоять,
 как некая античная колонна.)
 И с этой точки зренья ни на пядь
 не сдвинете шотландского барона,
 Твоим шотландцам было не понять,
 чем койка отличается от трона.
 В своем столетии белая ворона,
 для современников была ты блядь.

VI

Я вас любил. Любовь еще (возможно,
 что просто боль) сверлит мой мозг.
 Все разлетелось к черту на куски.
 Я застрелиться пробовал, но сложно
 с оружием. И далее — виски:
 в который вдарить? Поргила не дрожь, но
 задумчивость. Черт! все не по-людски!
 Я вас любил так сильно, безнадежно,
 как дай вам Бог другими — но не даст!
 Он, будучи на многое горазд,
 не сотворит — по Пармениду — дважды
 сей жар в крови, ширококостный хруст,
 чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
 коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

VII

Париж не изменился. Плас де Вож
 по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
 Река не потекла еще обратно.
 Бульвар Распай по-прежнему пригож.

Из нового — концерты за бесплатно
и башня, чтоб почувствовать — ты вошь.
Есть многие, с кем свидеться приятно,
но первым прокричавши «как живешь?».

В Париже, ночью, в ресторане... Шик
подобной фразы — праздник носоглотки.
И входит айне кляйне нахт мужик,
внося мордovorот в косоворотке.
Кафе. Бульвар. Подруга на плече.
Луна, что твой генсек в параличе.

VIII

На склоне лет, в стране за океаном
(открытой, как я думаю, при Вас),
деля помятый свой иконостас
меж печкой и продавленным диваном,
я думаю, сведи удача нас,
понадобились вряд ли бы слова нам:
ты просто бы звала меня Иваном
и я бы отвечал тебе «Alas».

Шотландия нам стала бы матрас.
Я б гордым показал тебя славянам.
В порт Глазго, караван за караваном,
пошли бы лапти, пряники, атлас.
Мы встретили бы вместе смертный час.
Топор бы оказался деревянным.

IX

Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг
сражения. «Ты кто такой?» — «А сам ты?»
«Я кто такой?» — «Да, ты». — «Мы протестанты».
«А мы католики». — «Ах вот как!» Хряск!
Потом везде валяются останки.
Шум нескончаемых вороньих дряг.
Потом — зима, узорчатые санки,

примерка шали: «Где это — Дамаск?»
 «Там, где самец-павлин прекрасней самки».
 «Но даже там он не проходит в дамки»
 (за шашками — передохнув от ласк).
 Ночь в небольшом по-голливудски замке.

Опять равнина. Полночь. Входят двое.
 И все сливается в их волчьем вое.

X

Осенний вечер, Якобы с Каменной.
 Увы, не поднимающей чела.
 Не в первый раз. В такие вечера
 все в радость, даже хор краснознаменный.
 Сегодня, превращаясь во вчера,
 себя не утруждает переменной
 пера, бумаги, жижицы пельменной,
 изделия хромого бочара
 из Гамбурга. К подержанным вещам,
 имеющим царапины и пятна,
 у времени чуть больше, вероятно,
 доверия, чем к свежим овощам.
 Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете
 в посадском, молью траченном жакете.

XI

Лязг ножниц, ощущение озноба.
 Рок, жадный до каракуля с овцы,
 что брачные, что царские венцы
 снимает с нас. И головы особо.
 Прощай, юнцы, их гордые отцы,
 разводы, клятвы верности до гроба.
 Мозг чувствует, как башня небоскреба,
 в которой не общаются жильцы.
 Так пьянствуют в Сиаме близнецы,
 где пьет один, забуревают — оба.
 Никто не прокричал тебе «Атас!».

И ты не знала «я одна, а вас...»
 глуша латынью потолок и Бога,
 увы, Мари, как выговорить «много».

XII

Что делает Историю? — Тела.
 Искусство? — Обезглавленное тело.
 Взять Шиллера: Истории влетело
 от Шиллера. Мари, ты не ждала,
 что немец, закусивши удила,
 поднимет старое, по сути, дело:
 ему-то вообще какое дело,
 кому дала ты или не дала?

Но, может, как любая немчура,
 наш Фридрих сам страшился топора.
 А во-вторых, скажу тебе, на свете
 ничем (вообрази это), опричь
 Искусства, твои стати не постичь.
 Историю отдай Елизавете.

XIII

Баран трясет кудряшками (они же
 — руно), вдыхая запахи травы.
 Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже.
 В тот день их речи были таковы:
 «Ей отрубили голову. Увы».
 «Представьте, как рассердятся в Париже»
 «Французы? Из-за чьей-то головы?
 Вот если бы ей тяпнули пониже...»
 «Так не мужик ведь. Вышла в неглиже».
 «Ну, это, как хотите, не основа...»
 «Бесстыдство! Как просвечивала жэ!»
 «Что ж, платья, может, не было иного».
 «Да, русским лучше; взять хоть Иванова:
 звучит как баба в каждом падеже».

XIV

Любовь сильнее разлуки, но разлука
длинней любви. Чем статнее гранит,
тем явственней отсутствие ланит
и прочего. Плюс запаха и звука.

Пусть ног тебе не вскидывать в зенит:
на то и камень (это ли не мука?),
но то, что страсть, как Шива шестирука,
бессильна — юбку, он не извинит.

Не от того, что столько утекло
воды и крови (если б голубая!),
но от тоски расстегиваться врозь
воздвиг бы я не камень, но стекло,
Мари, как воплощение гудбая
и взгляда, проникающего сквозь.

XV

Не то тебя, скажу тебе, сгубило,
Мари, что женихи твои в бою
поднять не звали плотников стропила;
не «ты» и «вы», смешавшиеся в «ю»;
не чьи-то симпатичные чернила;
не то, что — за печатями семью —
Елизавета Англию любила
сильней, чем ты Шотландию свою
(замечу в скобках, так оно и было);
не песня та, что пела соловью
испанскому ты в камере уныло.

Они тебе заделали свинью
за то, чему не видели конца
в те времена: за красоту лица.

XVI

Тьма скрадывает, сказано, углы.
Квадрат, возможно, делается шаром,
и, на ночь глядя залитым пожаром,

багровый лес незримо курлы
 беззвучно внемлет порами коры;
 лай сеттера, встревоженного шалым
 сухим листом, возносится к Стожарам,
 смотрящим на озимые бугры.

Немного, чем блазилась слеза,
 сумело уцелеть от перехода
 в сень перегной, Вечному перу
 из всех вещей, бросавшихся в глаза,
 осталось следовать за временами года,
 петь на-голос «Уньдую Пору».

XVII

То, что исторгло изумленный крик
 из аглицкого рта, что к мату
 склоняет падкий на помаду
 мой собственный, что отвернуть на миг
 Филиппа от портрета лик
 заставило и снарядить Армаду,
 то было — — — не могу тираду
 закончить — — — в общем, твой парик,
 упавший с головы упавшей
 (дурная бесконечность), он,
 твой есть единственный поклон,
 пускай не вызвал рукопашной
 меж зрителей, но был таков,
 что поднял на ноги врагов.

XVIII

Для рта, проговорившего «прощай»
 тебе, а не кому-нибудь, не всё ли
 одно, какое хлебово без соли
 разжевывать впоследствии. Ты, чай,
 привычная к не-доремифасоли.
 А если что не так — не осерчай:
 язык, что крыса, копошится в соре,
 выискивает что-то невзначай.

Прости меня, прелестный истукан.
 Да, у разлуки все-таки не дура
 губа (хоть часто кажется — дыра):
 меж нами — вечность, также — океан.
 Причем, буквально. Русская цензура.
 Могли бы обойтись без топора.

XIX

Мари, теперь в Шотландии есть шерсть
 (все выглядит как новое из чистки).
 Жизнь бег свой останавливает в шесть,
 на солнечном не сказываеь диске.
 В озерах — и по-прежнему им несть
 числа — явились монстры (василиски).
 И скоро будет собственная нефть,
 шотландская, в бутылках из-под виски.

Шотландия, как видишь, обошлась.
 И Англия, мне думается, тоже.
 И ты в саду французском непохожа
 на ту, с ума сводившую вчерась.
 И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их,
 но непохожие на вас обеих.

XX

Пером простым — неправда, что мятежным! —
 я пел про встречу в некоем саду
 с той, кто меня в сорок восьмом году
 с экрана обучала чувствам нежным.
 Предоставляю вашему суду:
 а) был ли он учеником прилежным,
 в) новую для русского среду,
 с) слабость к окончаниям падежным.

В Непале есть столица Катманду.

Случайное, являясь неизбежным,
 приносит пользу всякому труду.

**Ведя ту жизнь, которую веду,
я благодарен бывшим белоснежным
листам бумаги, свернутым в дуду.**

1974

ТЕМЗА В ЧЕЛСИ

I

Ноябрь. Светило, поднявшееся натошак,
 замирает на банках с содой в стекле аптеки.
 Ветер находит преграду во всех вещах:
 в трубах, в деревьях, в движущемся человеке.
 Чайки бдят на оградах, что-то клюют жиды;
 неколесный транспорт ползет по Темзе,
 как по серой дороге, извивающейся без нужды.
 Томас Мор взирает на правый берег с тем же
 вождельем, что прежде, и напрягает мозг.
 Тусклый взгляд из себя прочней, чем железный мост
 Принца Альберта; и, говоря по чести,
 это лучший способ покинуть Челси.

II

Бесконечная улица, делая резкий крюк,
 выбегает к реке, кончаясь железной стрелкой.
 Тело сыплет шаги на землю из мятых брюк,
 и деревья стоят, точно в очереди за мелкой
 осетриной волн; это все, на что
 Темза способна по части рыбы.
 Местный дождь затмевает трубу Агриппы.
 Человек, способный взглянуть на сто
 лет вперед, узрит побуревший портик,
 который вывеска «бар» не портит,
 вереницу барж, ансамбль водосточных флейт,
 автобус у галереи Тэйт.

III

Город Лондон прекрасен, особенно в дождь. Ни жезль для него не преграда, ни кепки и ни корона.

Лишь у тех, кто зонты производит, есть в этом климате шансы захвата трона.

Серым днем, когда вашей спины настичь даже тень не в силах, и на исходе деньги, в городе, где, как ни темней кирпич, молоко будет вечно белеть на дверной ступеньке, можно, глядя в газету, столкнуться со статьей о прохожем, попавшем под колесо; только найдя абзац о том, как скорбит родня, с облегченьем подумать: это не про меня.

IV

Эти слова мне диктовала не любовь и не Муза, но потерявший скорость звука пыгливый, бесцветный голос; я отвечал, лежа лицом к стене.

«Как ты жил в эти годы?» — «Как буква «г» в «ого».

«Опиши свои чувства». — «Смущался дороговизне».

«Что ты любишь на свете сильнее всего?» —

«Реки и улицы — длинные вещи жизни».

«Вспоминаешь о прошлом?» — «Помню, была зима.

Я катался на санках, меня продуло».

«Ты боишься смерти?» — «Нет, это та же тьма; но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула».

V

Воздух живет той жизнью, которой нам не дано уразуметь — живет своей голубою, ветреной жизнью, начинаясь над головою и нигде не кончаясь. Взглянув в окно, видишь трубы и шпиди, кровлю, ее свинец; это — начало большого сырого мира, где мостовая, которая нас вскормила, собой представляет его конец

преждевременный.. Брезжит рассвет, проезжает почта.
Больше не во что верить, oprичь того, что
покуда есть правый берег у Темзы, есть
левый берег у Темзы. Это — благая весть.

VI

Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы.
Сердце может только отстать от Большого Бена.
Темза катится к морю, разбухшая, точно вена,
и буксиры в Челси дерут басы.
Город Лондон прекрасен. Если не ввысь, то вширь
он раскинулся вниз по реке как нельзя безбрежной.
И когда в нем спишь, номера телефонов прежней
и текущей жизни, слившись, дают цифирь
астрономической масти. И палец, вращая диск
зимней луны, обретает бесцветный писк
«занято»; и этот звук во много
раз неизбежней, чем голос Бога.

ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА

Северо-западный ветер его поднимает над сизой, лиловой, пунцовой, алой долиной Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад курицы по двору обветшалой фермы, суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный, одинок, все, что он видит — гряды покатых холмов и серебро реки, вьющейся, точно живой клинок, сталь в зазубринах перекаатов, схожие с бисером городки

Новой Англии. Упавшие до нуля термометры — словно лары в нише; стыннут, обуздывая пожар листьев, шпили церквей. Но для ястреба это не церкви. Выше лучших помыслов прихожан

он парит в голубом океане, сомкнувши клюв, с прижатою к животу плюсною — когти в кулак, точно пальцы рук — чуя каждым пером поддув снизу, сверкая в ответ главною ягодою, держа на Юг,

к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу
 буков, прячущих в мощной пене
 травы, чьи лезвия остры,
 гнездо, разбитую скорлупу
 в алую крапинку, запах, тени
 брата или сестры.

Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,
 бьющееся с частотою дрожи,
 точно ножницами сечет,
 собственным движимое теплом,
 осеннюю синеву, ее же
 увеличивая за счет

еле видного глазу коричневого пятна,
 точки, скользящей поверх вершины
 ели; за счет пустоты в лице
 ребенка, замершего у окна,
 пары, вышедшей из машины,
 женщины на крыльце.

Но восходящий поток его поднимает вверх
 выше и выше. В подбрюшных перьях
 щиплет холодом. Глядя вниз,
 он видит, что горизонт померк,
 он видит как бы тринадцать первых
 штатов, он видит: из

труб поднимается дым. Но как раз число
 труб подсказывает одинокой
 птице, как поднялась она.
 Эк куда меня занесло!
 Он чувствует смешанную с тревогой
 гордость. Перевернувшись на

крыло, он падает вниз. Но упругий слой
 воздуха его возвращает в небо,

в бесцветную ледяную гладь.
 В желтом зрачке возникает злой
 блеск. То есть помесь гнева
 с ужасом. Он опять

низвергается. Но как стенка — мяч,
 как паденье грешника — снова в веру,
 его выталкивает назад.
 Его, который еще горяч!
 В черт те что. Все выше. В ионосферу.
 В астрономически объективный ад

птиц, где отсутствует кислород,
 где вместо проса — крупа далеких
 звезд. Что для двуногих высь,
 то для пернатых наоборот.
 Не мозжечком, но в мешочках легких
 он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит. Из согнутого, как крик,
 клюва, похожий на визг эриний,
 вырывается и летит вовне
 механический, нестерпимый звук,
 звук стали, впившейся в алюминий;
 механический, ибо не

предназначенный ни для чьих ушей:
 людских, срывающейся с березы
 белки, твякajúщей лисы,
 маленьких полевых мышей;
 так отливаться не могут слезы
 никому. Только псы

задирают морды. Пронзительный, резкий крик
 страшней, кошмарнее ре-диза
 алмаза, режущего стекло,
 пересекает небо. И мир на миг

как бы вздрагивает от пореза.
Ибо там, наверху, тепло

обжигает пространство, как здесь, внизу,
обжигает черной оградой руку
без перчатки. Мы, восклицая «вон,
там!», видим вверху слезу
ястреба плюс паутину, звуку
присущую, мелких волн,

разбегающихся по небосводу, где
нет эха, где пахнет апофеозом
звука, особенно в октябре.
И в кружеве этом, сродни звезде,
сверкая, скованная морозом,
инеем, с серебре,

опушившем перья, птица плывет в зенит,
в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда
перл, сверкающую деталь.
Мы слышим: что-то вверху звенит,
как разбивающаяся посуда,
как фамильный хрусталь,

чьи осколки, однако, не ранят, но
тают в ладони. И на мгновенье
вновь различаешь кружки, глазки,
веер, радужное пятно,
многоточия, скобки, звенья,
колоски, волоски —

бывший привольный узор пера,
карту, ставшую горстью юрких
хлопьев, летящих на склон холма.
И, ловя их пальцами, детвора
выбегает на улицу в пестрых куртках
и кричит по-английски: «Зима, зима!».

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ТРЕСКОВОГО МЫСА

А.Б.

I

Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады умолкают в траве газонов. Классические цитаты на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом безучастно чернеет, словно бутылка, забытая на столе. Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре, звякают клавиши Рэя Чарлза.

Выползая из недр океана, краб на пустынном пляже зарывается в мокрый песок с кольцами мыльной пряжи, дабы остынуть, и засыпает. Часы на кирпичной башне лязгают ножницами. Пот катится по лицу. Фонари в конце улицы, точно пуговицы у расстегнутой на груди рубашки.

Духота. Светофор мигает, глаз превращая в средство передвиженья по комнате к тумбочке с виски. Сердце замирает на время, но все-таки бьется: кровь, поблуждав по артериям, возвращается к перекрестку. Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку, и на севере поднимают бровь.

Странно думать, что выжил, но это случилось. Пыль покрывает квадратные вещи. Проезжающий автомобиль продлевает пространство за угол, мстя Эвклиду. Темнота извиняет отсутствие лиц, голосов и проч.,

превращая их не столько в бежавших прочь,
как в пропавших из виду.

Духота. Сильный шорох набрякших листьев, от
какового еще сильнее выступает пот.

То, что кажется точкой во тьме,

может быть лишь одним — звездой.

Птица, утратившая гнездо, яйцо

на пустой баскетбольной площадке кладет в кольцо.

Пахнет мятой и резедой.

II

Как бессчетным женам гарема все сильный Шах
изменить может только с другим гаремом,
я сменил империю. Этот шаг
продиктован был тем, что несло горелым
с четырех сторон — хоть живот крести;
с точки зренья ворон, с пяти.

Дуя в полую дудку, что твой факир,
я прошел сквозь строй янычар в зеленом,
чуя яйцами холод их злых секир,
как при входе в воду. И вот, с соленым
вкусом этой воды во рту,
я пересек черту

и поплыл сквозь баранину туч. Внизу
извивались реки, пылили дороги, желтели риги.
Супротив друг друга стояли, топча росу,
точно длинные строчки еще не закрытой книги,
армии, занятые игрой,
и чернели икрой

города. А после сгустился мрак.

Все погасло. Гудела турбина и ныло темя.

И пространство пятилось, точно рак,
пропуская время вперед. И время

шло на запад, точно к себе домой,
выпачкав платье тьмой.

Я заснул. Когда я открыл глаза,
север был там, где у пчелки жало.
Я увидел новые небеса
и такую же землю. Она лежала,
как это делает отродясь
плоская вещь: пылясь.

III

Одиночество учит сути вещей, ибо суть их то же
одиночество. Кожа спины благодарна коже
спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука на
подлокотнике деревенеет. Дубовый лоск
покрывает костяшки суставов. Мозг
бьется, как льдинка о край стакана.

Духота. На ступеньках закрытой бильярдной некто
вырывает из мрака свое лицо пожилого негра,
чиркая спичкой. Белозубая колоннада
Окружного Суда, выходящая на бульвар,
в ожидании вспышки случайных фар
утопает в пышной листве. И надо

всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара,
письмена «Кока-Колы». В заросшем саду курзала
тихо журчит фонтан. Изредка вялый бриз,
не сумевши извлечь из прутьев простой рулады,
шебаршит газетой в литье ограды,
сооруженной, бесспорно, из

спинок старых кроватей. Духота. Опирающийся на ружье,
Неизвестный Союзный Солдат делается еще
более неизвестным. Траулер трется ржавой
переносицей о бетонный причал. Жужжа,
вентилятор хватает горячий воздух США
металлической жаброй.

Как число в уме, на песке оставляя след,
океан громоздится во тьме, миллионы лет
мертвой зыбью баюкая щепку. И если резко
шагнуть с дебаркадера вбок, вовне,
будешь долго падать, руки по швам; но не
воспоследует всплеска.

IV

Перемена империи связана с гулом слов,
с выделением слюны в результате речи,
с лобачевской суммой чужих углов,
с возрастанием исподволь шансов встречи
параллельных линий (обычной на
полюсе). И она,

перемена, связана с колкой дров,
с превращением мятой сырой изнанки
жизни в сухой платяной покров
(в стужу — из твида, в жару — из нанки),
с затвердевающим под орех
мозгом. Вообще из всех

внутренностей только одни глаза
сохраняют свою студенистость. Ибо
перемена империи связана с взглядом за
море (затем что внутри нас рыба
дремлет); с фактом, что ваш пробор,
как при взгляде в упор

в зеркало, влево сместился... С больной десной
и с изжогой, вызванной новой пищей.
С сильной матовой белизной
в мыслях — суть отраженьем писчей
гладкой бумаги. И здесь перо
рвется поведать про

сходство. Ибо у вас в руках
то же перо, что и прежде. В рощах

те же растения. В облаках
 тот же гудящий бомбардировщик,
 летящий неведомо что бомбить.
 И сильно хочется пить.

V

В городах Новой Англии, точно вышедших из прибоа,
 вдоль всего побережья, поблескивая рябою
 чешуей черепицы и дранки, уснувшими косяками
 стоят в темноте дома, угодивши в сеть
 континента, который открыли сельдь
 и треска. Ни треска, ни

сельдь, однако же, тут не сподобились гордых статуй,
 невзирая на то, что было бы проще с датой.
 Что касается местного флага, то он украшен
 тоже не ими и в темноте похож,
 как сказал бы Салливен, на чертеж
 в тучи задранных башен.

Духота. Человек на веранде с обмотанным полотенцем
 горлом. Ночной мотылек всем незавидным тельцем,
 ударяясь в железную сетку, отскакивает, точно пуля,
 посланная природой из невидимого куста
 в самое себя, чтоб выбить одно из ста
 в середине июля.

Потому что часы продолжают идти непрерывно, боль
 затухает с годами. Если время играет роль
 панацеи, то в силу того, что не терпит спешки,
 ставши формой бессонницы: пробираясь пешком и вплавь,
 в полушарьи орла сны содержат дурную явь
 полушария решки.

Духота. Неподвижность огромных растений, далекий лай.
 Голова, покачнувшись, удерживает на край
 памяти сползшие номера телефонов, лица.

В настоящих трагедиях, где занавес — часть плаща,
умирает не гордый герой, но, по швам треща
от износу, кулиса.

VI

Потому что поздно сказать «прощай»
и услышать что-либо в ответ, помимо
эха, звучащего как «на-чай»
времени и пространству, мнимо
величавым и возводящим в куб
все, что сорвется с губ,

я пишу эти строки, стремясь рукой,
их выводящей почти вслепую,
на секунду опередить «на кой»,
с оных готовое губ в любую
минуту слететь и поплыть сквозь ночь,
увеличиваясь и проч.

Я пишу из Империи, чьи края
опускаются под воду. Снявши пробу с
двух океанов и континентов, я
чувствую то же почти, что глобус.
То есть, дальше некуда. Дальше — ряд
звезд. И они горят.

Лучше взглянуть в телескоп туда,
где присохла к изнанке листа улитка.
Говоря «бесконечность», в виду всегда
я имел искусство деления литра
без остатка на три при свете звезд,
а не избыток верст.

Ночь. В парвеноне хрипит «ку-ку».
Легионы стоят, прислонясь к когортам,
форумы — к циркам. Луна вверху,
как пропавший мяч над безлюдным кортом.

Голый паркет — как мечта ферзя.
Без мебели жить нельзя.

VII

Только затканый сплошь паутиной угол имеет право
именоваться прямым. Только услышав «браво»,
с полу встает актер. Только найдя опору,
тело способно поднять вселенную на рога.
Только то тело движется, чья нога
перпендикулярна полу.

Духота. Толчая тараканов в амфитеатре тусклой
цинковой раковины перед бесцветной тушей
высохшей губки. Поворачивая корону,
медный кран, словно цезарево чело,
низвергает на них не щадящую ничего
водяную колонну.

Пузырьки на стенках стакана похожи на слезы сыра.
Несомненно, прозрачной вещи присуща сила
тяготения вниз, как и плотной инертной массе.
Даже девять-восемьдесят одна, журча,
преломляет себя на манер луча
в человеческом мясе.

Только груда белых тарелок выглядит на плите,
как упавшая пагода в профиль. И только те
вещи чтимы пространством, чьи черты повторимы: розы.
Если видишь одну, видишь немедля две:
насекомые ползают, в алой жужжа ботве,—
пчелы, осы, стрекозы.

Духота. Даже тень на стене, уж на что слаба,
повторяет движенье руки, утирающей пот со лба.
Запах старого тела острей, чем его очертанья. Трезвость
мысли снижается. Мозг в суповой кости

тает. И некому навести
взгляда на резкость.

VIII

Сохрани на холодные времена
эти слова, на времена тревоги!
Человек выживает, как фиш на песке: она
уползает в кусты и, встав на кривые ноги,
уходит, как от пера — строка,
в недра материка.

Есть крылатые львы, женогрудые сфинксы. Плюс
ангелы в белом и нимфы моря.
Для того, на чьи плечи ложится груз
темноты, жары и — сказать ли — горя,
они разбегающихся милей
от брошенных слов нулей.

Даже то пространство, где негде сесть,
как звезда в эфире, приходит в ветхость.
Но пока существует обувь, есть
то, где можно стоять, поверхность,
суша. И внемлют ее пески
тихой песне трески:

«Время больше пространства. Пространство — вещь.
Время же, в сущности, мысль о вещи.
Жизнь — форма времени. Карп и лещ —
сгустки его. И товар похлеще —
сгустки. Включая волну и твердь
суши. Включая смерть.

Иногда в том хаосе, в свалке дней,
возникает звук, раздаётся слово.
То ли «любить», то ли просто «эй».
Но пока разобрать успеваю, снова
все сменяется рябью слепых полос,
как от твоих волос».

IX

Человек размышляет о собственной жизни, как ночь о лампе.
Мысль выходит в определенный момент за рамки
одного из двух полушарий мозга
и сползает, как одеяло, прочь,
обнажая неведомо что, точно локоть; ночь,
безусловно, громоздка,

но не столь бесконечна, чтоб точно хватить на оба.
Понемногу африка мозга, его европа,
азия мозга, а также другие капли
в обитаемом море, осью скрипя сухой,
обращаются мятой своей щекой
к электрической цапле.

Чу, смотри: Аладдин произносит «сезам» —
перед ним золотая грудка,
Цезарь бродит по спящему форуму, кличет Брута,
соловей говорит о любви богдыхану в беседке; в круге
лампы дева качает ногой колыбель; нагой
папуас отбивает одной ногой
на песке буги-вуги.

Духота. Так спросонья озябшим коленом пиная мрак,
понимаешь внезапно в постели, что это — брак:
что за тридевять с лишним земель повернулось на бок
тело, с которым давным-давно
только и общего есть, что дно
океана и навык

наготы; но при этом не встать вдвоем.
Потому что пока там светло, в твоём
полушарьи темно. Так сказать, одного светила
не хватает для двух заурядных тел.
То есть глобус склеен, как Бог хотел.
И его не хватило.

X

Опуская веки, я вижу край
ткани и локоть в момент изгиба.
Местность, где я нахожусь, есть рай,
ибо рай — это место бессилья. Ибо
это одна из таких планет,
где перспективы нет.

Тронь своим пальцем конец пера,
угол стола: ты увидишь, это
вызовет боль. Там, где вещь остра,
там и находится рай предмета;
рай, достижимый при жизни лишь
тем, что вещь не продлишь.

Местность, где я нахожусь, есть пик
как бы горы. Дальше — воздух, Хронос.
Сохрани эту речь; ибо рай — тупик.
Мыс, вдающийся в море. Конус.
Нос железного корабля.
Но не крикнуть «Земля!»

Можно сказать лишь, который час.
Это сказав, за движеньем стрелки
тут остается следить. И глаз
тонет беззвучно в лице тарелки,
ибо часы, чтоб в раю уют
не нарушать, не бьют.

То, чего нету, умножь на два:
в сумме получишь идею места.
Впрочем, поскольку они — слова,
цифры тут значат не больше жеста,
в воздухе тающего без следа,
словно кусочек льда.

XI

От великих вещей остаются слова языка, свобода
 в очертаньях деревьев, цепкие цифры года;
 также — тело в виду океана в бумажной шляпе.
 Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме:
 на его лице, у него в уме
 ничего, кроме ряби.

Состоя из любви, грязных снов, страха смерти, праха,
 осязая хрупкость кости, уязвимость паха,
 тело служит в виду океана цедающей семя
 крайней плотью пространства: слезой скулу серебра,
 человек есть конец самого себя
 и вдается во Время.

Восточный конец Империи погружается в ночь — по горло.
 Пара раковин внемлет улиткам его глагола:
 то есть, слышит свой собственный голос. Это
 развивает связки, но гасит взгляд.
 Ибо в чистом времени нет преград,
 порождающих эхо.

Духота. Только если, взохнувши, лечь
 на спину, можно направить сухую речь
 вверх — в направленьи исконно немых губерний.
 Только мысль о себе и о большой стране
 вас бросает в ночи от стены к стене,
 на манер колыбельной.

Спи спокойно поэтому. Спи. В этом смысле — спи.
 Спи, как спят только те, кто сделал свое пи-пи.
 Страны путают карты, привыкнув к чужим широтам.
 И не спрашивай, если скрипнет дверь,
 «Кто там?» — и никогда не верь
 отвечающим, кто там.

XII

Дверь скрипит. На пороге стоит треска.
 Просит пить, естественно, ради Бога.
 Не отпустишь прохожего без куска.
 И дорогу покажешь ему. Дорога
 извивается. Рыба уходит прочь.
 Но другая, точь-в-точь

как ушедшая, пробует дверь носком.
 (Меж собой две рыбы, что два стакана.)
 И всю ночь идут они косяком.
 Но живущий около океана
 знает, как спать, приглушив в ушах
 мерный тресковый шаг.

Спи. Земля не кругла. Она
 просто длинна: бугорки, лощины.
 А длинней земли — океан: волна
 набегаёт порой, как на лоб морщины,
 на песок. А земли и волны длинней
 лишь вереница дней.

И ночей. А дальше — туман густой:
 рай, где есть ангелы, ад, где черти.
 Но длинней стократ вереницы той
 мысли о жизни и мысль о смерти.
 Этой последней длинней в сто раз
 мысль о Ничто; но глаз

вряд ли проникнет туда, и сам
 закрывается, чтобы увидеть вещи.
 Только так — во сне — и дано глазам
 к вещи привыкнуть. И сны те вещи
 или зловещи — смотря, кто спит.
 И дверью треска скрипит.

ЧАСТЬ РЕЧИ (1975 — 1976)

* * *

Никоткуда с любовью, надцатого мартабря,
 дорогой, уважаемый, милая, но неважно
 даже кто, ибо черт лица, говоря
 откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
 и ничей верный друг вас приветствует с одного
 из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
 я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
 и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
 поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
 в городке, занесенном снегом по ручку двери,
 извиваясь ночью на простыне —
 как не сказано ниже по крайней мере —
 я взбиваю подушку мычащим «ты»
 за морями, которым конца и края,
 в темноте всем телом твои черты
 как безумное зеркало повторяя.

* * *

Север крошит металл, но щадит стекло.
 Учит гортань проговорить «впусти».
 Холод меня воспитал и вложил перо
 в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Замерзая, я вижу, как за моря
 солнце салится, и никого кругом.

То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля
закругляется под каблуком.

И в гортани моей, где положен смех,
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, «прощай».

* * *

Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагренный князь.
Растекаясь широкой стрелой по косою скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полету, осень в стекле внизу
узнает по лицу слезу.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

* * *

Это — ряд наблюдений. В углу — тепло.
Взгляд оставляет на вещи след.
Вода представляет собой стекло.
Человек страшней, чем его скелет.

Зимний вечер с вином в нигде.
Веранда под натиском ивняка.
Тело покоится на локте,
как морена вне ледника.

Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившим сквозь бахрому
оттиском «добррой ночи» уст,
не имевших сказать кому.

* * *

Потому что каблук оставляет следы — зима.
 В деревянных вещах замерзая в поле,
 по проходим себя узнают дома.
 Что сказать ввечеру о грядущем, коли
 воспоминанья в ночной тиши
 о тепле твоих — пропуск — когда уснула,
 тело отбрасывает от души
 на стену, точно тень от стула
 на стену ввечеру свеча,
 и под скатертью стянутым к лесу небом
 над силосной башней натертый крылом грача
 не отбелишь воздух колючим снегом.

* * *

Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с
 плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса
 налетают порывы резкого ветра. Голос
 старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла.
 Низвергается дождь: перекрученные канаты
 хлещут спины холмов, точно лопатки в бане.
 Средизимнее море шевелится за огрызками колоннады,
 как соленый язык за выбитыми зубами.
 Одичавшее сердце все еще бьется за два.
 Каждый охотник знает, где сидят фазаны, — в лужице под лежачим.
 За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра,
 как сказуемое за подлежащим.

* * *

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
 серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
 и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
 вьющийся между ними, как мокрый волос;
 если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
 раковина ушная в них различит не рокот,
 но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
 кипящий на керосинке, максимум — крики чаек.

В этих плоских краях то и хранит от фальши
 сердце, что скрыться негде и видно дальше.
 Это только для звука пространство всегда помеха:
 глаз не посетует на недостаток эха.

* * *

Что касается звезд, то они всегда.
 То есть, если одна, то за ней другая.
 Только так оттуда и можно смотреть сюда;
 вечером, после восьми, мигая.
 Небо выглядит лучше без них. Хотя
 освоение космоса лучше, если
 с ними. Но именно не сходя
 с места, на голой веранде, в кресле.
 Как сказал, половину лица в тени
 пряча, пилот одного снаряда,
 жизни, видимо, нету нигде, и ни
 на одной из них не удержишь взгляда.

* * *

В городке, из которого смерть расползлась по школьной карте,
 мостовая блестит, как чешуя на карпе,
 на столетнем каштане оплывают тугие свечи,
 и чугунный лев скучает по пылкой речи.
 Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки,
 проступают ранки гвоздики и стрелки кирпичи;
 вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,
 но никто не сходит больше у стадиона.
 Настоящий конец войны — это на тонкой спинке
 венского стула платье одной блондинки
 да крылатый полет серебристой жужжащей пули,
 уносящей жизни на Юг в июле.

Мюнхен

* * *

Около океана, при свете свечи; вокруг
 поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.
 Вечеру у тела, точно у Шивы рук,
 дотянутся желающих до бесценной.
 Упадая в траву, сова настигает мышь,
 беспричинно поскрипывают стропила.
 В деревянном городе крепче спишь,
 потому что снится уже только то, что было.
 Пахнет свежей рыбой, к стене прилип
 профиль стула, тонкая марля вяло
 шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив,
 как сползающее одеяло.

* * *

М.Б.

Ты забыла деревню, затерянную в болотах
 залесенной губернии, где чучел на огородах
 отродясь не держат — не те там злаки,
 и дорогой тоже все гати да буераки.
 Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
 а как жив, то пьяный сидит в подвале,
 либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
 говорят, калитку не то ворота.
 А зимой там колют дрова и сидят на репе,
 и звезда моргает от дыма в морозном небе.
 И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
 да пустое место, где мы любили.

* * *

Тихотворение мое, мое немое,
 однако, тяглое — на страх поводам,
 куда пожалуемся на ярмо и
 кому поведаем, как жизнь проводим?
 Как поздно за полночь ища глазунию
 луны за шторами зажженной спичкою,
 вручную стряхиваешь пыль безумия
 с осколков желтого оскала в писчую.

Как эту борзопись, что гуще патоки,
там ни размазывай, но с кем в колéне и
в локте хотя бы преломить, опять-таки,
ломоть отрезанный, тихотворение?

* * *

Темно-синее утро в заиндепевшей раме
напоминает улицу с горящими фонарями,
ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,
толчею в раздевалке в восточном конце Европы.
Там звучит «ганнибал» из худого мешка на стуле,
сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре;
что до черной доски, от которой мороз по коже,
так и осталась черной. И сзади тоже.
Дребезжащий звонок серебристый иней
преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий
все оказалось правдой и в кость оделось;
неохота вставать. Никогда не хотелось.

* * *

С точки зрения воздуха, край земли
всюду. Что, скашивая облака,
совпадает — чем бы ни замели
следы — с ощущением каблука.
Да и глаз, который глядит окрест,
скашивает, что твой серп, поля;
сумма мелких слагаемых при перемене мест
неузнаваемее нуля.
И улыбка скользнет, точно тень грача
по щербатой изгороди, пышный куст
шиповника сдерживая, но крича
жимолостью, не разжимая уст.

* * *

Заморозки на почве и облысенье леса,
небо серого цвета кровельного железа.
Выходя во двор нечетного октября,

ежась, число округляешь до «ох ты бля».
 Ты не птица, чтоб улетать отсюда;
 потому что, как в поисках милой, всю-то
 ты проехал вселенную, дальше вроде
 нет страницы податься в живой природе.
 Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом,
 пронизаемой стужей снаружи, отсюда — взглядом,
 за бугром в чистом поле на штабель слов
 пером кириллицы наколов.

* * *

Всегда остается возможность выйти из дому на
 улицу, чья коричневая длина
 успокоит твой взгляд подъездами, худобою
 голых деревьев, бликами луж, ходьбою.
 На пустой голове бриз шевелит ботву,
 и улица вдалеке сужается в букву «у»,
 как лицо к подбородку, и лающая собака
 вылетает из подворотни, как скомканная бумага.
 Улица. Некоторые дома
 лучше других: больше вещей в витринах,
 и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума,
 то, во всяком случае, не внутри них.

* * *

Итак, пригревает. В памяти, как на меже,
 прежде доброго злака маячит плевел.
 Можно сказать, что на Юге в полях уже
 высевают сорго, — если бы знать, где Север.
 Земля под лапкой грача действительно горяча;
 пахнет тесом, свежей смолой. И крепко
 зажмурившись от слепящего солнечного луча,
 видишь внезапно мучнистую щеку клерка,
 беготню в коридоре, эмалированный таз,
 человека в шляпе, сводящего хмуρο брови,
 и другого, со вспышкой, снимающего не нас,
 но обмякшее тело и лужу крови.

* * *

Если что-нибудь петь, то перемену ветра
 западного на восточный, когда замерзшая ветка
 переменяется влево, поскрипывая от неохоты,
 и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты.
 В полдень можно вскинуть ружье и выстрелить в то, что в поле
 кажется зайцем, предоставляя пуле
 увеличить разрыв между сбившимся напрочь с темпа
 пишущим эти строки пером и тем, что
 оставляет следы. Иногда голова с рукою
 сливаются, не становясь строкою,
 но под собственный голос, перекатывающийся картаво,
 подставляя ухо, как часть кентавра.

* * *

... и при слове «грядущее» из русского языка
 выбегают мыши и всей оравой
 отгрызают от лакомого куска
 памяти, что твой сыр дырявой.
 После стольких зим уже безразлично, что
 или кто стоит в углу у окна за шторой,
 и в мозгу раздается не неземное «до»,
 но ее шуршание. Жизнь, которой,
 как дареной вещи, не смотрят в пасть,
 обнажает зубы при каждой встрече.
 От всего человека вам остается часть
 речи. Часть речи вообще. Часть речи.

* * *

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
 За рубашкой в комод полезешь, и день потерял.
 Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это —
 города, человек, но для начала зелень.
 Стану спать не раздевшись или читать с любого
 места чужую книгу, покамест остатки года,
 как собака, сбегавшая от слепого,
 переходят в положенном месте асфальт. Свобода

это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Ширази,
и хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.

К ЕВГЕНИЮ

Я был в Мексике, взбирался на пирамиды.
Безупречные геометрические громады
рассыпаны там и сям на Тегуантепекском перешейке.
Хочется верить, что их воздвигли космические пришельцы,
ибо обычно такие вещи делаются рабами.
И перешеек усеян каменными грибами.

Глиняные божки, поддающиеся подделке
с необычайной легкостью, вызывающей кривотолки.
Барельефы с разными сценами, снабженные перевитым
туловищем змеи неразгаданным алфавитом
языка, не знающего слова «или».
Что бы они рассказали, если б заговорили?

Ничего. В лучшем случае, о победах
над соседним племенем, о разбитых
головах. О том, что слитая в миску
Богу Солнца людская кровь укрепляет в последнем мышцу;
что вечерняя жертва восьми молодых и сильных
обеспечивает восход надежнее, чем будильник.

Все-таки лучше сифилис, лучше жерла
единорогов Кортеса, чем эта жертва.
Ежели вам глаза скормить суждено воронам,
лучше, если убийца — убийца, а не астроном.
Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось
толком узнать, что вообще случилось.

Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,
всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй,
вот и мы!» Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта, «на всех стихиях...».
Далеко же видел, сидя в родных болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.

1975

НОВЫЙ ЖЮЛЬ ВЕРН

Л. и Н. Лифшиц

I

Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна.
 Корвет разрезает волны профилем Франца Листа.
 Поскрипывают канаты. Голая обезьяна
 с криком выскакивает из кабины натуралиста.

Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то,
 только бутылки в баре хорошо переносят качку.
 Ветер относит в сторону окончание анекдота,
 и капитан бросается с кулаками на мачту.

Порой из кают-компании раздаются аккорды последней
 вещицы Брамса.

Штурман играет циркулем, задумавшись над прямою
 линией курса. И в подзорной трубе пространство
 впереди
 быстро смешивается с оставшимся за кормою.

II

Пассажир отличается от матроса
 шорохом шелкового белья,
 условиями питания и жилья,
 повтореньем какого-нибудь бессмысленного вопроса.

Матрос отличается от лейтенанта
 отсутствием эполет,
 количеством лет,
 нервами, перекрученными на манер каната.

Лейтенант отличается от капитана
нашивками, выраженьем глаз,
фотокарточкой Бланш или Франсуаз,
чтением «Критики Чистого Разума», Мопассана и
«Капитала».

Капитан отличается от Адмиралтейства
одинокими мыслями о себе,
отвращением к синеве,
воспоминаньем о длинном уик-энде, проведенном в имение тестя.

И только корабль не отличается от корабля.
Переваливаясь на волнах, корабль
выглядит одновременно как дерево и журавль,
из-под ног у которых ушла земля.

III

РАЗГОВОР В КАЮТ-КОМПАНИИ

«Конечно, эрцгерцог монстр! но как следует разобраться —
нельзя не признать за ним некоторых заслуг...»

«Рабы обсуждают господ. Господа обсуждают рабство.
Какой-то порочный круг!» «Нет, спасательный круг!»

«Восхитительный херес!» «Я всю ночь не могла уснуть.
Это жуткос солнце: я сожгла себе плечи».

«...а если открылась течь? я читал, что бывают течи.
Представьте себе, что открылась течь, и мы стали тонуть!»

Вам случалось тонуть, лейтенант?» «Никогда. Но акула
меня кусала».

«Да? любопытно... Но представьте, что течь... И представьте себе...»

«Что ж, может, это заставит подняться на палубу даму в 12-б».

«Кто она?» «Это дочь генерал-губернатора, плывущая в Кюрасао».

IV

РАЗГОВОРЫ НА ПАЛУБЕ

«Я, профессор, тоже в молодости мечтал
открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу».
«И что же вам помешало?» «Наука мне не под силу.
И потом — тити-мити». «Простите?» «Э-э... презренный металл».
«Человек, он есть кто?! Он — вообще — комар!»
«А скажите, месье, в России у вас что — тоже есть резина?»
«Вольдемар, перестаньте! Вы кусаетесь, Вольдемар!
Не забывайте, что я...» «Простите меня, кузина».

«Слышишь, кореш?» «Чего?» «Чего это там, вдали?»
«Где?» «Да справа по борту». «Не вижу». «Вон там». «Ах, это...
Вроде бы кит. Завернуть не найдется?» «Не-а, одна газета...
Но Оно увеличивается! Смотри!... Оно увели...»

V

Море гораздо разнообразней суши.
Интереснее, чем что-либо.
Изнутри, как и снаружи. Рыба
интереснее груши.

На земле существуют четыре стены и крыша.
Мы боимся волка или медведя.
Медведя, однако, меньше и зовем его «Миша».
А если хватает воображенья — «Федя».

Ничего подобного не происходит в море.
Кита в его первозданном, диком
виде не трогает имя Бори.
Лучше звать его Диком.

Море полно сюрпризов, некоторые неприятны.
 Многим из них не отыскать причины;
 ни свалить на Луну, перечисляя пятна,
 ни на злую волю женщины или мужчины.

Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их жуткий
 вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.
 Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали «закона джунглей»
 либо — внесли бы в оный свои поправки.

· VI

«Капитан, в этих местах затонул «Черный Принц»
 при невыясненных обстоятельствах». «Штурман Бенц!
 Ступайте в свою каюту и хорошенько проспитесь».
 «В этих местах затонул также русский «Витязь».
 «Штурман Бенц! Вы думаете, что я
 шучу?» «При невыясненных обстоя...»

Неукоснительно двигается корвет.
 За кормою — Европа, Азия, Африка, Старый и Новый Свет.
 Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса.
 И пространство хранит ответ.

VII

«Ирина!» «Я слушаю». «Взгляни-ка сюда, Ирина».
 «Я же сплю». «Все равно. Посмотри-ка, что это там?» «Да где?»
 «В иллюминаторе». «Это... это, по-моему, субмарина».
 «Но оно извивается!» «Ну и что из того? В воде
 все извивается». «Ирина!» «Куда ты тащишь меня?! Я раздета!»
 «Да ты только взгляни!» «О Боже, не напирай!
 Ну, гляжу. Извивается... но ведь это... Это...
 Это гигантский спрут!.. И он лезет к нам! Николай!..»

VIII

Море внешне безжизненно, но оно
 полно чудовищной жизни, которую не дано
 постичь, пока не пойдешь на дно.

Что порой подтверждается сетью, тралом.
 Либо — пляской волн, отражающих как бы в вялом
 зеркале творящееся под одеялом.

Находясь на поверхности, человек может быстро плыть.
 Под водой, однако, он умеряет прыть.
 Внезапно он хочет пить.

Там, под водой, с пересохшей глоткой,
 жизнь представляется вдруг короткой.
 Под водой человек может быть лишь подводной лодкой.

Изо рта вырываются пузыри.
 В глазах возникает эквивалент зари.
 В ушах раздается некий бесстрастный голос, считающий:
 раз, два, три.

IX

«Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского осьминога.
 Чудо, что письменные принадлежности и твоя фотокарточка
 уцелели.

Сыро и душно. Тем не менее, не одиноко:
 рядом два дикаря, и оба играют на укалеле.
 Главное, что темно. Когда напрягаю зренье,
 различаю какие-то арки и своды. Сильно звенит в ушах.
 Постараюсь исследовать систему пищеваренья.
 Это — единственный путь к свободе. Целую. Твой верный Жак».

«Вероятно, так было в утробе... Но спасибо и за осьминога.
 Ибо мог бы просто пойти на дно, либо — попасть к акуле.

Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога:
о чем я их ни спрошу, слышу странное «хули-хули».

Вокруг бесконечные, скользкие, вьющиеся туннели.
Какая-то загадочная, переплетающаяся система.
Вероятно, я брежу, но вчера на панели
мне попался некто, назвавшийся капитаном Немо».

«Снова Немо. Пригласил меня в гости. Я
пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога.
Как протест против общества. Раньше была семья,
но жена и т. д. И ему ничего иного
не осталось. Говорит, что мир потонул во зле.
Осьминог (сокращенно — Ося) карает жестокосердые
и гордыню, воцарившиеся на земле.
Обещал, что если останусь, то обрету бессмертье».

«Вторник. Ужинали у Немо. Были вино, икра
(с «Принца» и с «Витязя»). Дикари подавали, скаля
зубы. Обсуждали начатую вчера
тему бессмертья, «Мысли» Паскаля, последнюю вещь в «Ля Скала».
Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон — осьминог.
Немо с его бородой и с глазами голубыми, как у младенца.
Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок...»
(Здесь обрываются письма к Бланш Деларю от лейтенанта Бенца.)

X

Когда корабль не приходит в определенный порт
ни в назначенный срок, ни позже,
Директор Компании произносит: «Черт!»,
Адмиралтейство: «Боже».

Оба не правы. Но откуда им знать о том,
что приключилось. Ведь не допросишь чайку,
ни акулу с ее набитым ртом,
не направишь овчарку

по следу. И какие вообще следы
в океане? Все это сущий
бред. Еще одно торжество воды
в состязании с сушей.

В океане все происходит вдруг.
Но потом еще долго волна терзает скитальцев:
доски, обломки мачты и спасательный круг;
все — без отпечатков пальцев.

И потом наступает осень, за ней — зима.
Сильно дует сирокко. Лучшего адвоката
молчаливые волны могут свести с ума
красотою заката.

И становится ясно, что нечего вопрошать
ни посредством горла, ни с помощью радиозонда
синюю рябь, продолжающую улучшать
линию горизонта.

Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк
факты, которых, собственно, кот заплакал.
Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк
и оседает на пол.

Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод.
Вдалеке на волне покачивается какой-то
безымянный предмет. И колокол глухо бьет
в помещении Ллойда.

КВИНТЕТ

I

Веко подергивается. Изо рта
вырывается тишина. Европейские города
настигают друг друга на станциях. Запах мыла
выдает обитателю джунглей приближающегося врага.
Там, где ступила твоя нога,
возникают белые пятна на карте мира.

В горле першит. Путешественник просит пить.
Дети, которых надо бить,
оглашают воздух пронзительным криком. Веко
подергивается. Что до колонн, из-за
них всегда появляется кто-нибудь. Даже прикрыв глаза,
даже во сне вы видите человека.

И накапливается, как плевок, в груди:
«Дай мне чернил и бумаги, а сам уйди
прочь!» И веко подергивается. Невнятные причитанья
за стеной (будто молются) увеличивают тоску.
Чудовищность творящегося в мозгу
придает незнакомой комнате знакомые очертанья.

II

Иногда в пустыне ты слышишь голос. Ты
вытаскиваешь фотоаппарат запечатлеть черты.
Но — темнеет. Присядь, перекинься шуткой
с говорящей по-южному, нараспев,

обезьянкой, что спрыгнула с пальмы и, не успев стать человеком, сделалась проституткой.

Лучше плыть пароходом, качающимся на волне, участвуя в географии, в голубизне, а не только в истории — этой коросте суши. Лучше Гренландию пересекать, скрипя лыжами, оставляя после себя айсберги и тюленьи туши.

Алфавит не даст позабыть тебе цель твоего путешествия — точку «Б». Там вороне не сделаться вороном, как ни каркай; слышен лай дворняг, рожь заглушил сорняк; там, как над шкуркой зверька скорняк, офицеры Генштаба орудуют над порыжевшей картой.

III

Тридцать семь лет я смотрю в огонь. Веко подергивается. Ладонь покрывается потом. Полицейский, взяв документы, выходит в другую комнату. Воздвигнутый впопыхах, обелиск кончается нехотя в облаках, как удар по Эвклиду, как след кометы.

Ночь; дожив до седин, ужинаешь один, сам себе быдло, сам себе господин. Вобла лежит поперек крупно набранного сообщения об изверженьи вулкана черт знает где, иными словами, в чужой среде, упираясь хвостом в «Последние Запрещенья».

Я понимаю только жужжанье мух на восточных базарах! На тротуаре в двух шагах от гостиницы, рыбой, попавшей в сети, путешественник ловит воздух раскрытым ртом: сильная боль, на этом убив, на том продолжается свете.

IV

«Где это?» — спрашивает, приглаживая вихор,
 племянник. И, пальцем блуждая по складкам гор,
 «Здесь», — говорит племянница. Поскрипывают качели
 в старом саду. На столе букет
 фиалок. Солнце слепит паркет.
 Из гостиной доносятся пассажи виолончели.

Ночью над плоскогорьем висит луна.
 От валуна отделяется тень слона.
 В серебре ручья нет никакой корысти.
 В одинокой комнате простыню
 комкает белое (смуглое) просто ню —
 жидопись, неизвестной кисти.

Весной в грязи копошится труженик-муравей,
 появляется грач, твари иных кровей;
 листва прикрывает ствол в месте его изгиба.
 Осенью ястреб дает круги
 над селеньем, считая цыплят. И на плечах слуги
 болгается белый пиджак сагиба...

V

Было ли сказано слово? И если да, —
 на каком языке? Был ли мальчик? И сколько льда
 нужно бросить в стакан, чтоб остановить Титаник
 мысли? Помнит ли целое роль частиц?
 Что способен подумать при виде птиц
 в аквариуме ботаник?

Теперь представим себе абсолютную пустоту.
 Место без времени. Собственно воздух. В ту
 и в другую, и в третью сторону. Просто Мекка
 воздуха. Кислород, водород. И в нем
 мелко подергивается день за днем
 одинокое веко.

Это — записки натуралиста. За-
писки натуралиста. Капающая слеза
падает в вакууме без всякого ускоренья.
Вечнозеленое неврастение, слыша жжу
щеце будущего, я дрожу,
вцепившись ногтями в свои корни.

1977

ПИСЬМА ДИНАСТИИ МИНЬ

I

«Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки вырвался и улетел. И, на ночь глядя, таблетки богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного, откидывается на подушки и, включив заводного, погружается в сон, убаюканный ровной песней. Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной невеселые, нечетные годовщины.

Специальное зеркало, разглаживающее морщины, каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке.

Небо тоже исколото шпилями, как лопатки и затылок больного (которого только спину мы и видим). И я иногда объясняю сыну богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки.

Это письмо от твоей, возлюбленный, Дикой Утки писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне

императрица.

Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса».

II

«Дорога в тысячу ли начинается с одного шага, гласит пословица. Жалко, что от него не зависит дорога обратно, превосходящая многократно тысячу ли. Особенно, отсчитывая от «0».

Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли — тысяча означает, что ты сейчас вдали

от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова
перекидывается на цифры; особенно на ноли.

Ветер несет нас на запад, как желтые семена
из лопнувшего стручка, — туда, где стоит Стена.
На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф,
как любые другие неразборчивые письмена.
Движение в одну сторону превращает меня
в нечто вытянутое, как голова коня.
Силы, жившие в теле, ушли на трение тени
о сухие колосья дикого ячменя».

1977

РАЗВИВАЯ ПЛАТОНА

I.

Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река
высовывалась бы из-под моста, как из рукава — рука,
и чтоб она впадала в залив, растопырив пальцы,
как Шопен, никому не показывавший кулака.

Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветеран-
тенор исправно пел арию Марио по вечерам;
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере
бормotal бы, сжав зубы от ненависти: «баран».

В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб.
По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб
я узнавал бы о наступлении воскресенья
и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмене руб.

Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.

Из всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные — пенальти и угловой.

II

Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых
я листал бы тома с таким же количеством запятых,
как количество скверных слов в ежедневной речи,
не прорвавшихся в прозу. Ни, тем более, в стих.

Там стоял бы большой Вокзал, пострадавший в войне,
с фасадом куда занятней, чем мир вовне.

Там при виде зеленой пальмы в витрине авиалиний
просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне.

И когда зима, Фортунатус, облакает квартал в рядно.

я б скучал в Галерее, где каждое полотно

— особенно Энгра или Давида —

как родимое выглядели бы пятно.

В сумерках я следил бы в окне-стада
мычущих автомобилей, спующих туда-сюда

мимо стройных нагих колонн с дорической прической,
безмятежно белеющих на фронте Суда.

III

Там была бы эта кофейня с недурным бланманже,
где, сказав, что зачем нам двадцатый век, если есть уже
девятнадцатый век, я бы видел, как взор коллеги
надолго сосредоточивается на вилке или ноже.

Там должна быть та улица с деревьями в два ряда,
подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда;

и портрет висел бы в гостиной, давая вам представление
о том, как хозяйка выглядела, будучи молода.

Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах,
не имеющих отношения к ужину при свечах,

и огонь в камельке, Фортунатус, бросал бы багровый отблеск
на зеленое платье. Но под конец зачах.

Время, текущее в отличие от воды
горизонтально от вторника до среды,

в темноте там разглаживало бы морщины
и стирало бы собственные следы.

IV

И там были бы памятники. Я бы знал имена
не только бронзовых всадников, всунувших в стремяна
истории свою ногу, но и ихних четвероногих,
учитывая отпечаток, оставленный ими на

населении города. И с присохшей к губе
сигаретою сильно за полночь возвращаясь пешком к себе,
как цыган по ладони, по трещинам на асфальте
я гадал бы, икая, вслух о его судьбе.

И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,
подрывную активность, бродяжничество, менаж-
а-трау, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,
тыча в меня натруженными указательными: «Не наш!» —

я бы втайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри,
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри
то, на что ты так долго глядел снаружи;
запомяни же подробности, восклицая «Vive la Patrie!»

BAGATELLE

Елизавета Леонской

I

Помраченье июльских бульваров, когда, точно деньги во сне,
пропадают из глаз, возмущенно шурша, миллиарды.

И, как сдача, звезда дребезжит, серебрясь в желтизне
не от мира сего замусоленной ласточкой карты.

Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу козинак,
сокращает красавиц до профилей в ихних камеях;
от великой любви остается лишь равенства знак
костенеть в перекладинах голых садовых скамеек.

И ночной аквилон, рыхлой мышце ища волокно,
как возможную жизнь, теребит взбаламученный гарус,
разодрав каковой, от земли отплывает фоно
в самодельную бурю, подняв полированный парус.

II

Города знают правду о памяти, об огромности лестниц в так наз.
разоренном гнезде, о победах прямой над отрезком.

Ничего на земле нет длиннее, чем жизнь после нас,
воскресавших со скоростью, набранной к ночи курьерским.

И всегда за спиной, как отбросив костяшки, рука
то ли машет вослед, в направлении растроченных денег,
то ли вслух громоздит зашвырнувшую вас в облака
из-под пальцев аккордом брэнчащую сумму ступенек.

Но чем ближе к звезде, тем все меньше перил; у квартир — вид неправильных гуч, зараженных квадратностью, тюлем, и версте, чью спираль граммофон до конца раскрутил, лучше броситься под ноги взапуски замершим стульям.

III

Разрастаясь, как мысль облаков о себе в синеве, время жизни, стремясь отделиться от времени смерти, обращается к звуку, к его серебру в соловье, центробежной иглой разгоняя масштаб круговерти.

Так творятся миры, ибо радиус, подвиги чьи в захолустных садах созерцаемы выцветшей осью, руку бросившим пальцем на слух подбирает ключи к бытию вне себя, в просторечьи — к его безголосью.

Так лучи подбирают пространство: так пальцы слепца неспособны отдернуть себя, слыша крик «Осторожней!». Освещенная вещь обрастает чертами лица. Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней.

* * *

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараче,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озираю полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнава входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

24 мая 1980

СТИХИ О ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ 1980-го ГОДА

«В полдневный зной в долине Дагестана...»

М. Ю. Лермонтов

I

Скорость пули при низкой температуре
 сильно зависит от свойств мишени,
 от стремленья согреться в мускулатуре
 торса, в сложных переплетеньях шеи.
 Камни лежат, как второе войско.
 Тень вжимается в суглинок поневоле.
 Небо — как осыпающаяся известка.
 Самолет растворяется в нём наподобье моли.
 И пружиной из вспоротого матраца
 поднимается взрыв. Брезгающая воронкой,
 как сбежавшая пёнка, кровь, не успев впитаться
 в грунт, покрывается твёрдой пленкой.

II

Север, пастух и сеятель, гонит стадо
 к морю, на Юг, распространяя холод.
 Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана.
 Механический слон, задирая хобот
 в ужасе перед черной мышью
 мины в снегу, изрыгает к горлу
 подступивший комок, одержимый мыслью,
 как Магомет, сдвинуть с места гору.
 Снег лежит на вершинах; небесная кладовая
 отпускает им в полдень сухой избыток.
 Горы не двигаются, передавая
 свою неподвижность телам убитых.

III

Заунывное пение славянина
 вечером в Азии. Мерзнущая, сырая
 человеческая свинина
 лежит на полу караван-сарая.
 Тлеет кизяк, ноги окоченели;
 пахнет тряпьем, позабытой баней.
 Сны одинаковы, как шинели.
 Больше патронов, нежели воспоминаний,
 и во рту от многих «ура» осадок.
 Слава тем, кто, не поднимая взора,
 шли в абортарий в шестидесятых,
 спасая отечество от позора!

IV

В чем содержанье жужжанья трутня?
 В чем — летательного аппарата?
 Жить становится так же трудно,
 как строить домик из винограда
 или — карточные ансамбли.
 Все неустойчиво (раз — и сдуло):
 семьи, частные мысли, сакли.
 Над развалинами аула
 ночь. Ходя под себя мазутом,
 стынет железо. Луна от страха
 потонуть в сапоге разутом
 прячется в тучи, точно в чалму Аллаха.

V

Праздный, никем не вдыхаемый больше воздух.
 Ввезенная, сваленная как попало
 тишина. Растущая, как опара,
 пустота. Существовай на звездах
 жизнь, раздались бы аплодисменты,
 к рампе бы выбежал артиллерист, мигая,
 Убийство — наивная форма смерти,
 тавтология, ария попугая,

дело рук, как правило, цепкой бровью
 муху жизни ловящей в своих прицелах
 молодежи, знакомой с кровью
 понаслышке или по ломке целок.

VI

Натяни одеяло, вырой в трухе матраса
 ямку, заляг и слушай «у-у» сирены.
 Новое оледененье — оледененье рабства —
 напóлзает на глобус. Его морены
 подминают державы, воспоминанья, блузки.
 Бормоча, выкатывая орбиты,
 мы превращаемся в будущие моллюски,
 бо никто нас не слышит, точно мы трилобиты.
 Дует из коридора, скважин, квадратных окон.
 Поверни выключатель, свернись в калачик.
 Позвоночник чтит вечность. Не то что локон.
 Утром уже не встать с карачек.

VII

В стратосфере, всеми забыта, сучка
 лает, глядя в иллюминатор.
 «Шарик! Шарик! Прием. Я — Жучка».
 Шарик внизу, и на нем экватор.
 Как ошейник. Склоны, поля, овраги
 повторяют своей белизною скулы.
 Краска стыда вся ушла на флаги.
 И в занесенной подклети куры
 тоже, вздрагивая от побудки,
 кладут непорочного цвета яйца.
 Если что-то чернеет, то только буквы.
 Как следы уцелевшего чудом зайца.

* * *

Я был только тем, чего
ты касалась ладонью,
над чем в глухую, воронью
ночь склоняла чело.

Я был лишь тем, что ты
там, внизу, различала:
смутный облик сначала,
много позже — черты.

Это ты, горяча,
ошую, одесную
раковину ушную
мне творила, шепча.

Это ты, теребя
штору, в сырую полость
рта вложила мне голос,
окликавший тебя.

Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячьсть.
Так оставляют след.

Так творятся миры.
Так, сотворив, их часто

оставляют вращаться,
расточая дары.

Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в свет, то в темень,
в мирозданьи потерян,
кружится шар.

1981

ЭКЛОГА 4-я
(ЗИМНЯЯ)

Ultima Somaei venit jam carminis aetas:
Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo.

VIRGIL. Eclogue IV

I

Зимой смеркается сразу после обеда.
В эту пору голодных нетрудно принять за сытых.
Зевок загоняет в берлогу простую фразу.
Сухая, сгущенная форма света —
снег — обрекает ольшаник, его засыпав,
на бессонницу, на доступность глазу

в темноте. Роза и незабудка
в разговорах всплывают все реже. Собаки с вялым
энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами
оставляют следы. Ночь входит в город, будто
в детскую: застаёт ребенка под одеялом;
и перо скрипит, как чужие сани.

II

Жизнь моя затянулась. В речитативе выюги
обострившийся слух различает невольно тему
оледенения. Всякое «во-саду-ли»
есть всего лишь застывшее «буги-вуги».
Сильный мороз суть откровенье телу
о его грядущей температуре

либо — вздох Земли о ее богатом
галактическом прошлом, о злом морозе.
Даже здесь щека пунцовеет, как редиска.
Космос всегда отливает слепым агатом,

и вернувшееся восвояси «морзе»
попискивает, не застав радиста.

III

В феврале лиловеют заросли краснотала.
Неизбежная в профиле снежной бабы
дорожает морковь. Ограниченный бровью,
взгляд на холодный предмет, на кусок металла,
лютей самого металла — дабы
не пришлось его с кровью

отдирать от предмета. Как знать, не так ли
озирал свой труд в день восьмой и после
Бог? Зимой, вместо сбора ягод,
затыкают щели кусками пакли,
охотней мечтают об общей пользе,
и вещи становятся старше на год.

IV

В стужу панель подобна сахарной карамели.
Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую.
Реже снятся дома, где уже не примут.
Жизнь моя затянулась. По крайней мере,
точных примет с лихвой хватило бы на вторую
жизнь. Из одних примет можно составить климат

либо пейзаж. Лучше всего безлюдный,
с девственной белизной за пеленою кружев,
— мир, не слышавший о лондонах и парижах,
мир, где рассеянный свет — генератор будней,
где в итоге вздрагиваешь, обнаружив,
что и тут кто-то прошел на лыжах.

V

Время есть холод. Всякое тело, рано
или поздно, становится пищею телескопа:
остывает с годами, удаляется от светила.

Стекло зацветает сложным узором: рама
 суть хрустальные джунгли хвоща, укропа
 и всего, что взрастило

одинокчество. Но, как у бюста в нише,
 глаз зимою скорее закатывается, чем плачет.
 Там, где роятся сны, за пределом зренья,
 время, упавшее сильно ниже
 нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик
 палуна из русского стихотворенья.

VI

Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод,
 время — на время. Единственная преграда —
 теплое тело. Упрямое, как ослица,
 стоит оно между ними, поднявши ворот,
 как пограничник держась приклада,
 грядущему не позволяя слиться

с прошлым. Зимою на самом деле
 вторник он же суббота. Днем легко ошибиться:
 свет уже выключили или еще не включили?
 Газеты могут печататься раз в неделю.
 Время глядится в зеркало, как певица,
 позабывшая, что это — «Госка» или «Лючия».

VII

Сны в холодную пору длинней, подробней.
 Ход конем лоскутное одеяло
 заменяет на досках паркета прыжком лягушки.
 Чем больше лютует пурга над кровлей,
 тем жарче требует идеала
 голое тело в тряпичной гуще.

И вам снятся настурции, бурный Терек
 в тесном ущелье, мушиный куколь
 между стеной и торцом буфета:

праздник кончиков пальцев в плену бретелек.
А потом все стихает. Только горячий уголь
тлеет в серой золе рассвета.

VIII

Холод ценит пространство. Не обнажая сабли,
он берет урочища, веси, грады.
Населенье сдается, не сняв треуха.
Города — особенно, чьи ансамбли,
чьи пилястры и колоннады
стоят, как пророки его триумфа,

смутно белея. Холод слетает с неба
на парашюте. Всяческая колонна
выглядит пятой, жаждет переворота.
Только ворона не принимает снега,
и вы слышите, как кричит ворона
картавым голосом патриота.

IX

В феврале чем позднее, тем меньше ртутки.
Т. е. чем больше времени, тем холоднее. Звезды
как разбитый термометр: каждый квадратный метр
ночи ими усеян, как при салюте.
Днем, когда небо под стать известке,
сам Казимир бы их не заметил,

белых на белом. Вот почему незримы
ангелы. Холод приносит пользу
ихнему воинству: их, крылатых,
мы обнаружили бы, воззри мы
вправду горе, где они как по льду
скользят белофиннами в маскхалатах.

X

Я не способен к жизни в других широтах.
Я нанизан на холод, как гусь на вертел.

Слава голой березе, колючей ели,
 лампочке желтой в пустых воротах,
 — слава всему, что приводит в движенье ветер!
 В зрелом возрасте это — вариант колыбели.

Север — честная вещь. Ибо одно и то же
 он твердит вам всю жизнь — шепотом, в полный голос
 в затянувшейся жизни — разными голосами.
 Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи,
 напоминая забравшемуся на полюс
 о любви, о стоянии под часами.

XI

В сильный мороз даль не поет сиреной.
 В космосе самый глубокий выдох
 не гарантирует вдоха, уход — возврата.
 Время есть мясо немой Вселенной.
 Там ничего не тикает. Даже выпав
 из космического аппарата,

ничего не поймаете: ни фокстрота,
 ни Ярославны, хоть на Путивль настроясь.
 Вас убивает на внеземной орбите
 отнюдь не отсутствие кислорода,
 но избыток Времени в чистом, то есть
 без примеси вашей жизни, виде.

XII

Зима! Я люблю твою горечь клюквы
 к чаю, блюда с дольками мандарина,
 твой миндаль с арахисом, граммов двести.
 Ты раскрываешь цыплячьи клювы
 именами «Ольга» или «Марина»,
 произносимыми с нежностью только в детстве

и в тепле. Я пою синеву сугроба
 в сумерках, шорох фольги, частоту бемоля —

точно «чижика» где подбирает рука Господня.
И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого
города, мерзнущего у моря,
меня согревают еще сегодня.

XIII

В определенном возрасте время года
совпадает с судьбой. Их роман недолог,
но в такие дни вы чувствуете: вы правы.
В эту пору не важно, что вам чего-то
не досталось; и рядовой фенолог
может описывать быт и нравы.

В эту пору ваш взгляд отстаёт от жеста.
Треугольник больше не пыльная теорема:
все углы затянула плотная паутина,
пыль. В разговорах о смерти место
играет все большую роль, чем время,
и слюна, как полтина,

XIV

обжигает язык. Реки, однако, вчуже
скованы льдом; можно надеть рейтузы;
прикрутить к ботинку железный полоз.
Зубы, устав от чечетки стужи,
не стучат от страха. И голос Музы
звучит как сдержанный, частный голос.

Так родится эклога. Взамен светила
загорается лампа: кириллица, грешным делом,
разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли,
знает больше, чем та сивилла,
о грядущем. О том, как чернеть на белом,
покуда белое есть, и после.

ЭКЛОГА 5-я
(ЛЕТНЯЯ)

I

Вновь я слышу тебя, комариная песня лета!
Потные муравьи спят в тени курослепа.
Муха сползает с пыльного эполета
лопуха, разжалованного в рядовые.
Выражение «ниже травы» впервые
означает гусениц. Буровые

вышки разросшегося кипрея
в джунглях бурьяна, вьюнка, пырея
синеют от близости эмпирея.
Салют бесцветного болиголова
сотрясаем грабками пожилого
богомолы. Темно-лилова,

сердцевина репейника напоминает мину,
зорвавшуюся как бы наполовину.
Дыгиль тянется точно рука к графину.
И паук, как рыбачка, латает крепкой
ниткой свой невод, распятый терпкой
полынью и золотой сурепкой.

Жизнь — сумма мелких движений. Сумрак
в ножнах осоки, трепет пастушьих сумок,
меняющийся каждый миг рисунок
конского щавеля, дрожь люцерны,
чебреца, тимофеевки — драгоценны
для понимания законов сцены,

не имеющей центра. И злак, и плевел
 в полдень отбрасывают на север
 общую тень, ибо их посеял
 тот же ветренный сеятель, кривотолки
 о котором и по сей день не смолкли.
 Вслушайся, как шуршат метелки

петушка-или-курочки! что лепечет
 ромашки отрывистый чет и нечет!
 как мать-и-мачеха им перечит,
 как болтает, точно на грани бреда,
 примятая лебедою Леда
 нежной мяты. Лужайки лета,

освещенные солнцем! бездомный мотыль,
 пирамиды крапивы, жара и одурь.
 Пагоды папоротника. Поодаль —
 анис как рухнувшая колонна,
 минарет шалфея в момент наклона —
 травяная копия Вавилона,

зеленая версия Третьеримска!
 где вправо сворачиваешь не без риска
 вынырнуть слева: все далеко и близко.
 И кузнечик в погоне за балериной
 капустницы, как герой былинный,
 замирает перед сухой былинкой.

II

Воздух, бесцветный вблизи, в пейзаже
 выглядит синим. Порою — даже
 темно-синим. Возможно, та же
 вещь случается с зеленью: удаленность
 взора от злака и есть зеленость
 одного злака. В июле склонность

флоры к разрыву с натуралистом,
 дав потемнеть и набрякнуть листьям,
 передается с загаром лицам.

Сумма красивых и некрасивых,
 удаляясь и приближаясь, в силах
 глаз измучить почище синих

и зеленых пространств. Окраска
 вещи на самом деле маска
 бесконечности, жадной к деталям. Масса,
 увы, не кратное от деленья
 энергии на скорость зренья
 в квадрате, но ощущение тренья

о себе подобных. Вглядись в пространство!
 в его одинаковое убранство
 поблизости и вдалеке! в упрямство,
 с каким, независимо от размера,
 зелень и голубая сфера
 сохраняют колер. Это — почти что вера,

род фанатизма! Жужжанье мухи,
 увязшей в липучке, — не голос муки,
 но попытка автопортрета в звуке
 «ж». Подобие алфавита,
 тело есть знак размноженья вида
 за горизонт. И пейзаж — лишь свита

убежавших в Азию, к стройным пальмам,
 особей. Верное ставням, спальням,
 утро в июле мусолит пальцем
 пачки жасминовых ассигнаций,
 лопаются стручки акаций,
 и воздух прозрачнее комбинаций

спящей красавицы. Душный июль! Избыток
 зелени и синева — избитых

форм бытия. И в глазных орбитах —
 остановившееся, как Атилла
 перед мятым щитом, светило:
 дальше попросту не хватило

означенной голубой кудели
 воздуха. В одушевленном теле
 свет узнает о своем пределе
 и преломляется, как в итоге
 длинной дороги, о чем истоке
 лучше не думать. В конце дороги —

III

бабочки, мальвы, благоуханье сена,
 река вроде Оредежи или Сейма,
 расположившиеся подле семьи
 дачников, розовые наяды,
 их рискованные наряды,
 плеск; пронзительные рулады

соек тревожат прибрежный тальник,
 скрывающий белизну опальных
 мест у скидывающих купальник
 в зарослях; запах хвои, обрывы
 цвета охры; жара, наплывы
 облаков; и цвета мелкой рыбы

волны. О, водоемы лета! Чаще
 всего блестящие где-то в чаще
 пруды или озёра — части
 воды, окруженные сушей; шелест
 осоки и камышей, замшелость
 коряги, нежная ряска, прелесть

желтых кувшинок, бесстрастность лилий,
 водоросли — или рай для линий —
 и шастающий, как Христос, по синей

глади жук-плавунец. И порою окунь
всплеснет, дабы окинуть оком
мир. Так высовываются из окон

и немедленно прячутся, чтоб не выпасть.
Лето! пора рубах навывпуск,
разговоров про ядовитость
грибов, о поганках, о белых пятнах
мухоморов, полемики об опятах
и сморчках; тишины объятых

сонным покоем лесных лужаек,
где в полдень истома глаза смежает,
где пчела, если вдруг ужалит,
то приняв вас сослену за махровый
мак или за вещь, коровой
оставленную, и взлетает, пробой

обескуражена и громоздка.
Лес — как ломаная расческа.
И внезапная мысль о себе подростка:
«выше кустарника, ниже ели»
оглушает его на всю жизнь. И еле
видный жаворонок сыплет трели

с высоты. Лето! пора зубрежки
к экзаменам, формул, орла и решки;
прыщи, бубоны одних, задержки
других — от страха, что не осилишь;
силуэты техникумов, училищ
даже во сне. Лишь хлысты удилищ

с присвистом прочь отгоняют беды.
В образовавшиеся просветы
видны сандалии, велосипеды
в траве; никелированные педали
как петлицы кителей, как медали.
В их резине и в их металле

что-то от будущего, от века,
 европы, железных дорог — чья ветка
 и впрямь, как от порыва ветра,
 дает зеленые полустапки —
 лес, водокачка, лицо крестьянки,
 изгородь — и из твоей жестянки

расползаются вправо-влево
 вырытые рядом со стенкой хлева
 червяки. А потом — телега
 с наваленными на нее кулями,
 и бегущий убранными полями
 проселок. И где-то на дальнем плане

церковь — графином, суслоны, хаты,
 крытые шифером с толью скаты
 и стекла, ради чьих рам закаты
 и существуют. И тень от спицы,
 удлинняясь до польской почти границы,
 бежит вдоль обочины за матерком возницы,

как лохматая Жучка, она же Динка;
 и ты глядишь на носок ботинка,
 в зубах травинка, в мозгу блондинка.
 с каменной дачи — и в верхотуре
 только журавль, а не вестник бури.
 Слава нормальной температуре! —

на десять градусов ниже тела.
 Слава всему, до чего есть дело.
 Всему, что еще вам не надоело!
 Рубашке, болтающейся, подсохнув,
 панаме, выглядящей как подсолнух,
 вальсу издалика «На сопках».

IV

Развевающиеся занавески летних
 сумерек! кринками полный ледник,

сталин или хрущев последних
 тонущих в треске цикад известий,
 варенье, сделанное из местной
 брусники. Обмазанные известкой

щиколотки яблоневої аллеи
 чем темнее становится, тем белее;
 а дальше высятся бармалеи
 настоящих деревьев в сгущенной синьке
 вечера. Кухни, зады, косынки,
 слюдяная форточка керосинки

с адским пламенем. Ужины на верандах!
 Картошка во всех ее вариантах.
 Лук и редиска невероятных
 размеров, укроп, огурцы из кадки,
 помидоры, и все это — прямо с грядки,
 и, наконец, наигравшись в прятки,

пыльные емкости! Копоть лампы.
 Пляска теней на стене. Таланты
 и поклонники этого действия. Латы
 самовара и рафинад, от соли
 отличаеваемый с помощью мухи. Соло
 удода в малиннике. Или — ссоры

лягушек в канаве у сеновала.
 И в латах кипящего самовара —
 ужимки вытянутого овала,
 шорох газеты, курлы отрыжек;
 из гостиной доносится четкий «чижик»;
 и мысль Симонида насчет лодыжек

избавляет на миг каленый
 взгляд от обоев и ответвлений
 боярышника; вид коленей
 всегда недостаточен. Тем дороже

тело, что ткань, его скрыв, похоже
помогает скользить по коже,

лишенной узоров, присущих ткани,
вверх. Тем временем чай в стакане,
остывая, туманит грани,
и пламя в лампе уже померкло.
А после под одеялом мелко
дрожит, тускло мерцая, стрелка

нового компаса, определяя
Север не хуже, чем удалая
мысль прокурора. Обрывки лая,
пазы в разошедшемся табурете,
сонное кукареку в подклети,
крик паровоза. Потом и эти

звуки смолкают. И глухо — глуше,
чем это воспринимают уши, —
листва, бесчисленная, как души
живших до нас на земле, лопочет
нечто на диалекте почек,
как языками, чей рваный почерк

— кляксы, клинопись лунных пятен —
ни тебе, ни стене невнятен.

И долго среди бугров и вмятин
матраса вертисься, расплетая,
где иероглиф, где запятая;
и снаружи шумит густая,

еще не желтая, мощь Китая.

АРИЯ

I

Что-нибудь из другой
оперы, типа Верди.
Мало ли под рукой?
Вообще — в круговерти.
Безразлично о ком.
Трудным для подражания
птичкиным языком.
Лишь бы без содержания.

II

Скоро мене полста.
Вон гоношится бобрик
стриженого куста.
Вон изменяет облик,
как очертанья льдин,
марля небесных клиник.
Что это, я — один?
Или зашел в малинник?

III

Розовый истукан
здесь я себе поставил.
В двух шагах — океан,
место воды без правил.
Вряд ли там кто-нибудь,
кроме солнца, садится,

как успела шепнуть
аэроплану птица.

IV

Что-нибудь про спираль
в башне. И про араба,
и про его сераль.
Это редкая баба
если не согрешит.
Мысль не должна быть четкой.
Если в горле першит,
можно рискнуть чечеткой.

V

День пролетел. Пчела
шепчет по-польски: «збродня».
Лучше кричать вчера,
чем сегодня. Сегодня
оттого мы кричим,
что, дав простор подошвам,
Рок, не щадя причин,
топчется в нашем прошлом.

VI

Ах, потерявши нить,
«моль» говорит холстинка.
Взгляда не уронить
ниже, чем след ботинка.
У пейзажа — черты
вывернутого кармана.
Пение сироты
радует меломана.

РИМСКИЕ ЭЛЕГИИ

Бенедетте Кравиери

I

Пленное красное дерево частной квартиры в Риме.
 Под потолком — пыльный хрустальный остров.
 Жалюзи в час заката подобны рыбе,
 перепутавшей чешую и остов.
 Ставя босую ногу на красный мрамор,
 тело делает шаг в будущее — одеться.
 Крикни сейчас «замри» — я бы тотчас замер,
 как этот город сделал от счастья в детстве.
 Мир состоит из наготы и складок.
 В этих последних больше любви, чем в лицах.
 Так и тенор в опере тем и сладок,
 что исчезает навек в кулисах.
 На ночь глядя, синий зрачок полощет
 свой хрусталик слезой, доводя его до сверканья.
 И луна в головах, точно пустая площадь:
 без фонтана. Но из того же камня.

II

Месяц замерших маятников (в августе расторопна
 только муха в гортани высохшего графина).
 Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно
 прожекторам ПВО в поисках серафима.
 Месяц спущенных штор и зачехленных стульев,
 потного двойника в зеркале над комодом,
 пчел, позабывших расположение ульев
 и улетевших к морю покрыться медом.

Хлопчи же, струя, над белоснежной, дряблой
 мышцей, играй куделью седых подпалин.
 Для бездомного торса и праздных граблей
 ничего нет ближе, чем вид развалин.
 Да и они в ломаном «р» еврея
 узнают себя тоже; только слюнным раствором
 и скрепляешь осколки, покамест Вре́мя
 варварским взглядом обводит форум.

III

Черепица холмов, раскаленная летним полднем.
 Облака вроде ангелов — в силу летучей тени.
 Так счастливый бульжник грешит с голубым исподним
 длинноногой подруги. Я, певец дребедени,
 лишних мыслей, ломаных линий, прячусь
 в недрах вечного города от светила,
 навязавшего цезарям их незрячесть
 (этих лучей за глаза б хватило
 на вторую вселенную). Желтая площадь; одурь
 полдня. Владелец «веспы» мучает передачу.
 Я, хватаясь рукою за грудь, поодаль
 считаю с прожитой жизни сдачу.
 И, как книга, раскрытая сразу на всех страницах,
 лавр шелестит на выжженной балюстрадае.
 И Колизей — точно череп Аргуса, в чьих глазницах
 облака проплывают, как память о бывшем стаде.

IV

Две молодых брюнетки в библиотеке мужа
 той из них, что прекрасней. Два молодых овала
 сталкиваются над книгой в сумерках, точно Муза
 объясняет Судьбе то, что надиктовала.
 Шорох старой бумаги, красного крепдешина,
 воздух пропитан лавандой и цикламеном.
 Перемена прически; и локоть — ни миг — вершина,
 привыкшая к ветреным переменам.
 О, коричневый глаз впитывает без усилий

мебель того же цвета, шторы, плоды граната.
 Он и зорче, он и нежней, чем синий.
 Но синему — ничего не надо!
 Синий всегда готов отличить владельца
 от товаров, брошенных вперемежку
 (т.е. время — от жизни), дабы в него взглядеться.
 Так орел стремится взглядеться в решку.

V

Звуки рояля в часы обеденного перерыва.
 Тишина уснувшего переулка
 обрастает бемолью, как чешуею рыба,
 и коричневая штукатурка
 дышит, хлопая жаброй, прелым
 воздухом августа, и в горячей
 полости горла холодным перлом
 перекачивается Гораций.
 Я не воздвиг уходящей к тучам
 каменной вещи для их острастки.
 О своем — и о любом — грядущем
 я узнал у буквы, у черной краски.
 Так задремывают в обнимку
 с «лейкой», чтоб, преломляя в линзе
 сны, себя опознать по снимку,
 очнувшись в более длинной жизни.

VI

Обними чистый воздух, а-ля ветви местных циний:
 в пальцах — не больше, чем на стекле, на тюле.
 Но и птичка из туч вниз не вернется синей,
 да и сами мы вряд ли боги в миниатюре.
 Оттого мы и счастливы, что мы ничтожны. Дали,
 выси и проч. брезгают гладью кожи.
 Тело обратно пространству, как ни крути педали.
 И несчастны мы, видимо, оттого же.
 Привались лучше к портику, скинь бахилы,
 сквозь рубашку стена холодит предплечье;

и смотри, как солнце садится в сады и виллы,
как вода, наставница красноречья,
льется из ржавых скважин, не повторяя
ничего, кроме нимфы, дующей в окарину,
кроме того, что она — сырая
и превращает лицо в руину.

VII

В этих узких улицах, где громоздка
даже мысль о себе, в этом клубке извилин
прекратившего думать о мире мозга,
где то взвинчен, то обессилен,
переставляешь на площадях ботинки
от фонтана к фонтану, от церкви к церкви
— так иголка шаркает по пластинке,
забывая остановиться в центре, —
можно смириться с невзрачной дробью
остающейся жизни, с влечением прошлой
жизни к законченности, к подобью
целого. Звук, из земли подошвой
извлекаемый, — ария их союза,
серенада, которую время оно
напевает грядущему. Это и есть Карузо
для собаки, сбежавшей от граммофона.

VIII

Бейся, свечной язычок, над пустой страницей,
трепещи, пригинаем выдохом углекислым,
следуй — не приближаясь! — за вереницей
литер, стоящих в очередях за смыслом.
Ты озаряешь шкаф, стенку, сатира в нише
— большую площадь, чем покрывает почерк!
Да и коготь твоя воспаряет выше
помыслов автора этих строчек.
Впрочем, в ихнем ряду ты обретаешь имя;
вечным пером, в память твоих субтильных
запятых, на исходе тысячелетья в Риме

я вывожу слова «факел», «фитиль», «светильник»,
а не точку — и комната выглядит как в начале.
(Сочиняя, перо мало что сочинило.)
О, сколько света дают ночами
сливающиеся с темнотой чернила!

IX

Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.
Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега.
Ястреб над головой, как квадратный корень
из бездонного, как до молитвы, неба.
Свет пожинает больше, чем он посеял:
тело способно скрыться, но тень не спрячешь.
В этих широтах все окна глядят на Север,
где пьешь тем больше, чем меньше значишь.
Север! в огромный айсберг вмерзшее пианино,
мелкая оспа кварца в гранитной вазе,
не способная взгляда остановить равнина,
десять бегущих пальцев милого Ашкенази.
Больше туда не выдвигать кордона.
Только буквы в когорты строит перо на Юге.
И золотистая бровь, как закат на карнизе дома,
поднимается вверх, и темнеют глаза подруги.

X

Частная жизнь. Рваные мысли, страхи.
Ватное одеяло бесформенней, чем Европа.
С помощью мятой куртки и голубой рубахи
что-то еще отражается в зеркале гардероба.
Выпьем чаю, лицо, чтобы раздвинуть губы.
Воздух обложен комнатой, как оброком.
Сойки, вспорхнув, покидают купы
пиний — от брошенного ненароком
взгляда в окно. Рим, человек, бумага;
хвост дописанной буквы — точно мелькнула крыса.
Так уменьшаются вещи в их перспективе, благо
тут она безупречна. Так на льду Танаиса

пропадая из виду, дрожа всем телом,
высохшим лавром прикрывши темя,
бредут в лежащее за пределом
всякой великой державы время.

XI

Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.
Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса.
Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —
плоть, принявшая вечность как анонимность торса.
Вы — источник бессмертья! навшие вас нагими
сами стали катуллом, статуями, траяном,
августом и другими. Временные богини!
Вам приятнее верить, нежели постоянным.
Славься, круглый живот, лядвие с нежной кожей!
Белый на белом, как мечта Казимира,
летним вечером я, самый смертный прохожий
среди развалин, торчащих как ребра мира,
нетерпеливым ртом пью вино из ключицы;
небо бледней щеки с золотистой мушкой.
И купола смотрят вверх, как сосцы волчицы,
накормившей Рема и Ромула и уснувшей.

XII

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за все; за куриный хрящик
и за стрекот ножниц, уже кроющих
мне пустоту, раз она ← Твоя.
Ничего, что черна. Ничего, что в ней
ни руки, ни лица, ни его овала.
Чем незримей вещь, тем оно верней,
что она когда-то существовала
на земле, и тем больше она — везде.
Ты был первым, с кем это случилось, правда?
Только то и держится на гвозде,
что не делится без остатка на два.
Я был в Риме. Был залит светом. Так,
как только может мечтать обломок!
На сетчатке моей — золотой пятак.
Хватит на всю длину потемок.

БЮСТ ТИБЕРИЯ

Приветствую тебя две-тыщи лет
спустя. Ты тоже был женат на бляди.
У нас немало общего. К тому ж,
вокруг — твой город. Гвалт, автомобили,
шпана со шприцами в сырых подъездах,
развалины. Я, заурядный странник,
приветствую твой пыльный бюст
в безлюдной галерее. Ах, Тиберий,
тебе здесь нет и тридцати. В лице
уверенность скорей в послушных мышцах,
чем в будущем их суммы. Голова,
отрубленная скульптором при жизни,
есть, в сущности, пророчество о власти.
Все то, что ниже подбородка, — Рим:
провинции, откупщики, когорты
плюс сонмы чмокающих твой шершавый
младенцев — наслаждение в ключе
волчицы, потчующей крошку Рема
и Ромула. (Те самые уста!
глаголющие сладко и бессвязно
в подкладке тоги.) В результате — бюст
как символ независимости мозга
от жизни теда. Собственного и
имперского. Пиши ты свой портрет,
он состоял бы из сплошных извилин.

Тебе здесь нет и тридцати. Ничто
 в тебе не останавливает взгляда.
 Ни, в свою очередь, твой твердый взгляд
 готов на чем-либо остановиться:
 ни на каком-либо лице, ни на
 классическом пейзаже. Ах, Тиберий!
 Какая разница, что там бубнят
 Светоний и Тацит, ища причины
 твоей жестокости! Причин на свете нет,
 есть только следствия. И люди жертвы следствий.
 Особенно в тех подземельях, где
 все признаются, — даром что признанья
 под пыткой, как и исповеди в детстве,
 однообразны. Лучшая судьба —
 быть непричастным к истине. Понеже
 она не возвышает. Никого.
 Тем паче цезарей. По крайней мере,
 ты выглядишь способным захлебнуться
 скорее в собственной купальне, чем
 великой мыслью. Вообще — не есть ли
 жестокость только ускоренье общей
 судьбы вещей? свободного паденья
 простого тела в вакууме? В нем
 всегда оказываешься в момент паденья.

Январь. Нагроможденье облаков
 над зимним городом, как лишний мрамор.
 Бегущий от действительности Тибр.
 Фонтаны, бьющие туда, откуда
 никто не смотрит — ни сквозь пальцы, ни
 прищурившись. Другое время!
 И за уши не удержать уже
 взбесившегося волка. Ах, Тиберий!
 Кто мы такие, чтоб судить тебя?
 Ты был чудовищем, но равнодушным
 чудовищем. Но именно чудовищ —
 отнюдь не жертв — природа создает

по своему подобию. Гораздо
отраднее — уж если выбирать —
быть уничтоженным исчадьем ада,
чем невращенником. В неполных тридцать,
с лицом из камня — каменным лицом,
рассчитанным на два тысячелетия,
ты выглядишь естественной машиной
уничтожения, а вовсе не
рабом страстей, проводником идеи
и прочая. И защищать тебя
от вымысла — как защищать деревья
от листьев с ихним комплексом бессвязно,
но внятно ропщущего большинства.

В безлюдной галерее. В тусклый полдень.
Окно, замызганное зимним светом.
Шум улицы. На качество пространства
никак не реагирующий бюст...
Не может быть, что ты меня не слышишь!
Я тоже опрометью бежал всего
со мной случившегося и превратился в остров
с развалинами, с цаплями. И я
чеканил профиль свой посредством лампы.
Вручную. Что до сказанного мной,
мной сказанное никому не нужно —
и не впоследствии, но уже сейчас.
Не есть ли это тоже ускоренье
истории? успешная, увы,
попытка следствия опередить причину?
Плюс, тоже в полном вакууме — что
не гарантирует большого всплеска.
Раскаяться? Переверстать судьбу?
Зайти с другой, как говорится, карты?
Но стоит ли? Радиоактивный дождь
польет не хуже нас, чем твой историк.
Кто явится нас проклинать? Звезда?
Луна? Осатаневший от бессчетных

мутаций, с рыхлым туловищем, вечный термит? Возможно. Но, наткнувшись в нас на нечто твердое, и он, должно быть, слегка опешит и прервет буренье.

«Бюст, — скажет он на языке развалин и сокращающихся мышц, — бюст, бюст».

ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ (2)

Гернадю Шмакову

I

Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.
От пощечины булочника матовая щека
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус
в лавке ростовщика.

Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде
школьники на бегу, утренние лучи
перебирают колонны, аркады, пряди
водорослей, кирпичи.

II

Долго светает. Гольный, холодный мрамор
бедер новой Сусанны сопровождаем при
погружении под воду стрекотом кинокамер
новых старцев. Два-три
грузных голубя, снявшихся с капители,
на легу превращаются в чаек: таков налог
на полет над водой, либо — поклеп постели,
сонный, на потолок.

III

Сырость вползает в спальню, сводя лопатки
спящей красавицы, что ко всему глуха.
Так от хрустнувшей ветки ежатся куропатки,
и ангелы — от греха.
Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох.

Пена бледного шелка захлестывает, легка,
стулья и зеркало — местный стеклянный выход
вещи из тупика.

IV

Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную
раковину затопляет дребезг колоколов.
То бредут к водопою глотнуть речную
рябь стада куполов.
Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,
крепкий кофе, скомканное тряпье.
И макает в горло дракона золотой Егорий,
как в чернила, копьё.

V

День. Невесомая масса взятой в квадрат лазури,
оставляя весь мир — всю синеву! — в тылу,
прилипают к стеклу всей грудью, как к амбразуре,
и сдаются стеклу.
Кучерявая свора тщится настигнуть вора
в разгоревшейся шапке, норд-ост суля.
Город выглядит как толчея фарфора
и битого хрусталя.

VI

Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
как непарная обувь с ноги Творца,
ревностно топчут шпильи, пилястры, арки,
выраженье лица.
Все помножено на два, кроме судьбы и кроме
самой H_2O . Но, как всякое в мире «за»,
в меньшинстве оставляет ее и кровли
праздная бирюза.

VII

Так выходят из вод, ошеломляя гладью
кожи бугристый берег, с цветком в руке,

забывая про платье, предоставляя платью
всплескивать вдалеке.

Так обдают вас брызгами. Те, кто бессмертен, пахнут
водорослями, отличаясь от вообще людей,
голубей отрывая от сумасшедших шахмат
на торцах площадей.

VIII

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремление запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.

СИДЯ В ТЕНИ

I

Ветренный летний день.
Прижавшееся к стене
дерево и его тень.
И тень интересней мне.
Трона, получив плетей,
убегает к пруду.
Я смотрю на детей,
бегающих в саду.

II

Свирепость их резвых игр,
их безутешный плач
смутили б грядущий мир,
если бы он был зряч.
Но порок слепоты
время приобрело
в результате лапты,
в которую нам везло.

III

Остекленелый кирпич
царанает голубой
купол, как паралич
нашей мечты собой
пространство одушевить;
внешность этих громад

может вас пришибить,
мозгу поставить мат.

IV

Новый пчелиный рой
эти улья займет,
производя жилой,
электрический мед.
Дети вытеснят нас
в пригородные сады
памяти — тешить глаз
формами пустоты.

V

Природа научит их
тому, что сама в нужде
зазубрила, как стих:
времени и т.д.
Они снабдят цифру «100»
завитками плюща,
если не вечность, то
постоянство ища.

VI

Ежедневная ложь
и жужжание мух
будут им невтерпез,
но разовьют их слух.
Зуб отличит им медь
от серебра. Листва
их научит шуметь
голосом большинства.

VII

После нас — не потоп,
где довольно весла,
но наваждение толп,

множественного числа.
 Пусть торжество икры
 над рыбой еще не грех,
 но ангелы — не комары,
 и их не хватит на всех.

VIII

Ветреный летний день.
 Запахи нечистот
 затмевают сирень.
 Брюзжа, я брюзжу как тот,
 кому застать повезло
 уходящей во тьму
 мир, где, делая зло,
 мы знали еще — кому.

IX

Ветреный летний день.
 Сад. Отдаленный рев
 полицейских сирен,
 как грядущее слов.
 Птицы клюют из урн
 мусор взамен пшена.
 Голова, как Сатурн,
 болью окружена.

X

Чем искреннее певец,
 тем все реже, увы,
 давешний бубенец
 вибрирует от любви.
 Пробовавшая огонь,
 трогавшая топор,
 сильно вспотев, ладонь
 не потреплет вихор.

XI

Это — не страх ножа
или новых тенет,
но того рубежа,
за каковым нас нет.
Так способен Луны
снимок насторожить:
жизнь, как меру длины,
не к чему приложить.

XII

Тысячелетье и век
сами идут к концу,
чтоб никто не прибег
к бомбе или к свинцу.
Дело столь многих рук
гибнет не от меча,
но от дешевых брюк,
скинутых сгоряча.

XIII

Будущее черно,
но от людей, а не
оттого, что оно
черным кажется мне.
Как бы беря взаймы,
дети уже сейчас
видят не то, что мы;
безусловно не нас.

XIV

Взор их неуловим.
Жилистый сорванец,
уличный херувим,
впившийся в леденец,
из рогатки в саду

целясь по воробью,
не думает — «попаду»,
но убежден — «убью».

XV

Всякая зоркость суть
знак сиротства вещей,
не получивших грудь.
Апофеоз прыщей
вооружен зрачком,
вписываясь в чей круг,
видимый мир — ничком
и стоямя — близорук.

XVI

Данный эффект — порок
только пространства, впрок
не запасшего клук.
Так глядит в потолок
падающий в кровать;
либо — лишенный сна —
он же, чего скрывать,
забирается на.

XVII

Эта песнь без конца
есть результат родства,
серенада отца,
ария меньшинства,
петая сумме тел,
в просторечьи — толпе,
наводнившей партер
под занавес и т.п.

XVIII

Ветренный летний день.
Детская беготня.

Дерево и его тень,
упавшая на меня.
Рваные хлопья туч.
Звонкий от оплеух
пруд. И отвесный луч
— как липучка для мух.

XIX

Впитывая свой сок,
пачкая куст, тетрадь,
множась, точно песок,
в который легко играть,
дети смотрят в ту даль,
куда, точно грош в горсти,
зеркало, что Стендаль
брал с собой, не внести.

XX

Наши развил черты,
ухватки и голоса
(знак большой нищеты
природы на чудеса),
выпятив челюсть, зоб,
дети их искажат
собственной злостью — чтоб
не отступить назад.

XXI

Так двигаются вперед,
за горизонт, за грань.
Так, продолжая род,
предает себя ткань.
Так, подмешавши дробь
в ноль, в лейкоциты — грязь,
предает себя кровь,
свертыванья страшась.

XXII

В этом и есть, видать,
роль материи во
времени — передать
все во власть *ничего* ,
чтоб заселить верто-
град голубой мечты,
разменявши *ничто*
на собственные черты.

XXIII

Так в пустыне шатру
слышится тамбурин.
Так впопыхах икру
мечут в ультрамарин.
Так марают листы
запятая, словцо,
Так говорят «лишь ты»,
заглядывая в лицо.

Июнь 1983

НА ВЫСТАВКЕ КАРЛА ВЕЙЛИНКА

I

Почти пейзаж. Количество фигур,
в нем возникающих, идет на убыль
с наплывом статуй. Мрамор белокур,
как наизнанку вывернутый уголь,
и местность мнится северной. Плато;
гиперборей, взъерошивший капусту.
Все так горизонтально, что никто
вас не прижмет к взволнованному бюсту.

II

Возможно, это — будущее. Фон
раскаяния. Мести сослуживцу.
Глухого, но отчетливого «вон!».
Внезапного приема джиу-джитсу.
И это — город будущего. Сад,
чьи заросли рассматриваешь в оба,
как ящерица в тропиках — фасад
гостиницы. Тем паче — небоскреба.

III

Возможно также — прошлое. Предел
отчаяния. Общая вершина.
Глаголы в длинной очереди к «л».
Улегшаяся буря крепдешина.
И это — царство прошлого. Тропы,
заглохнувшей в действительности. Лужи,

хранящей отраженья. Скорлупы,
увиденной яичницей снаружи.

IV

Бесспорно — перспектива. Календарь.
Верней, из воспалившихся гортаней
туннель в психологическую даль,
свободную от наших очертаний.
И голосу, подробнее, чем взор,
знакомому с ландшафтом неуспеха,
сподручней выбрать большее из зол
в расчете на чувствительное эхо.

V

Возможно — натюрморт. Издалека
все, в рамку заключенное, частично
мертво и неподвижно. Облака.
Река. Над ней кружащаяся птичка.
Равнина. Часто именно она,
принять другую форму не умея,
становится добычей полотна,
открытки, оправданьем Птоломея.

VI

Возможно — зебра моря или тигр.
Смесь скинутого платья и преграды
облизывает щиколотки икр
к загару неспособной балюстрады,
и время, мнится, к вечеру. Жара;
сняв потный молот с пылкой наковальни,
настойчивое соло комара
кончается овациями спальни.

VII

Возможно — декорация. Дают
«Причины Нечувствительность к Разлуке

со Следствием». Приветствуя уют,
 певцы не столь нежны, сколь близоруки,
 и «до» звучит как временное «от».
 Блестящее, как капля из-под крана,
 вибрируя, над проволокой нот
 парит лунообразное сопрано.

VIII

Бесспорно, что — портрет, но без прикрас:
 поверхность, чьи землистые оттенки
 естественно приковывают глаз,
 тем более — поставленного к стенке.
 Поодаль, как уступка белизне,
 клубятся, сбившись в тучу, олимпийцы,
 спиною чужа брошенный извне
 взгляд живописца — взгляд самоубийцы.

IX

Что, в сущности, и есть автопортрет.
 Шаг в сторону от собственного тела,
 повернутый к вам в профиль табурет,
 вид издали на жизнь, что пролетела.
 Вот это и зовется «мастерство»:
 способность не страшиться процедуры
 небытия — как формы своего
 отсутствия, списав его с натуры.

1984

* * *

Как давно я топчу, видно по каблуку.
Паутинку тоже пальцем не снять с чела.
То и приятно в громком кукареку,
что звучит как вчера.
Но и черной мысли толком не закрепить;
как на лоб упавшую косо прядь.
И уже ничего не снится, чтоб меньше быть,
реже сбываться, не засорять
времени. Нищий квартал в окне
глаз мозолит, чтоб, в свой черед,
в лицо запомнить жильца, а не,
как тот считает, наоборот.
И по комнате точно шаман кружа,
я наматываю как клубок
на себя пустоту ее, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.

* * *

Точка всегда обозримей в конце прямой.
Веко хватает пространство, как воздух — жабра.
Из рта, сказавшего все, кроме «Боже мой»,
вырывается с шумом абракадабра.
Вычитанье, начавшееся с юлы
и т.п., подбирается к внешним данным;
паутиной окованные углы
придают сходство комнате с чемоданом.
Дальше ехать некуда. Дальше не
отличить златоуста от златоротца.
И будильник так тикает в тишине,
точно дом через десять минут взорвется.

* * *

Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве.
В эту пору — разгул Пинкертонам,
и себя настигаешь в любом естестве
по небрежности оттиска в оном.
За такие открытия не требуют мзды,
тишина по всему околотку.
Сколько света набилось в осколок звезды,
на ночь глядя! как беженцев в лодку.
Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.
За душой, как ни шарь, ни черта. Изю рта —
пар клубами, как профиль дракона.
Помолись лучше вслух, как второй Назорей,
за бредущих с дарами в обеих
половинках земли самозванных царей
и за всех детей в колыбелях.

* * *

Е.Р.

Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке
отражения город. Позвякивают куранты.
Комната с абажуром. Ангелы вдалеке
галдят, точно высыпающие из кухни официанты.
Я пишу тебе это с другой стороны земли
в день рожденья Христа. Снежное толковище
за окном раздражается искренним «ай-люли»:
белизна размножается. Скоро Ему две тыщи
лет. Осталось четырнадцать. Нынче уже среда,
завтра — четверг. Данную годовщину
нам, боюсь, отмечать, не добавляя льда,
избавляя следующую морщину
от еённой щеки; в просторечии вместе с Ним.
Вот тогда мы и свидимся. Как звезда — селянина,
через стенку пройдя, слух бередит одним
пальцем разбуженное пианино.
Будто кто-то там учится азбуке по складам.
Или нет — астрономии, вглядываясь в начертанья
личных имен там, где нас нету: там,
где сумма зависит от вычитанья.

Декабрь 1985

ПОСЛЕСЛОВИЕ

I

Годы проходят. На бурой стене дворца
появляется трещина. Слепая швея, наконец, продает нитку
в золотое ушко. И Святое Семейство, опав с лица,
приближается на один миллиметр к Египту.

Видимый мир заселен большинством живых.
Улицы освещены ярким, но посторонним
светом. И по ночам астроном
скрупулезно подсчитывает количество чаевых.

II

Я уже не способен припомнить, когда и где
произошло событие. То или иное.
Вчера? Несколько дней назад? В воде?
В воздухе? В местном саду? Со мною?

Да и само событие — допустим, взрыв,
наводнение, ложь бабы, огни Кузбасса —
ничего не помнит, тем самым скрыв
либо меня, либо тех, кто спасся.

III

Это, видимо, значит, что мы теперь заодно
с жизнью. Что я сделался тоже частью
шелестящей материи, чье сукно

заражает кожу бесцветной мастью.
Я теперь тоже в профиль, верно, не отличим
от какой-нибудь латки, складки, трико паяца,
долей и величин, следствий или причин —
от того, чего можно не знать, сильно хотеть, бояться.

IV

Тронь меня — и ты тронешь сухой релей,
сырость, присущую вечеру или полдню,
каменоломню города, ширь степей,
тех, кого нет в живых, но кого я помню.

Тронь меня — и ты заденешь то,
что существует помимо меня, не веря
мне, моему лицу, пальто,
то, в чьих глазах мы, в итоге, всегда потеря.

V

Я говорю с тобой, и не моя вина,
если не слышно. Сумма дней, намозолив
человеку глаза, так же влияет на
связки. Мой голос глух, но, думаю, не назойлив.

Это — чтоб лучше слышать кукареку, тик-так,
в сердце пластинки шаркающую иголку.
Это — чтоб ты не заметил, когда я умолкну, как
Красная Шапочка не сказала волку.

* * *

Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга,
нет! как платформа с вывеской «Вырица» или «Тарту».
Но надвигаются лица, не знающие друг друга,
местности, нанесенные точно вчера на карту,
и заполняют вакуум. Видимо, никому из
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах
недостаточно извести. «В нашей семье, — волнуясь,
ты бы вставила, — не было ни военных,
ни великих мыслителей». Правильно: невским струям
отраженье еще одной вещи невыносимо.
Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!
То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неимением тела
тает, ссылаясь на неспособность клеток —
то есть извилин! — вспомнить, как ты хотела,
пудря щеку, выглядеть напоследок.
Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,
бормотать на ходу «умерла, умерла», покуда
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
дребезжа, как сдаваемая посуда.

ПРИМЕЧАНИЯ ПАПОРОТНИКА

Gedenke meiner,
flüstert der Staub
Peter Huchel

По положению пешки догадываешься о короле.
По полоске земли вдалеке — что находишься на корабле.
По сытым ноткам в голосе нежной подруги в трубке
— что объявился приемник: студент? хирург?
инженер? По названию станции — Одинбург —
что пора выходить, что яйцу не сносить скорлупки.

В каждом из нас сидит крестьянин, специалист
по прогнозам погоды. Как то: осенний лист,
падая вниз лицом, сулит недород. Оракул
не лучше, когда в жилище входит закон в плаще:
ваши дни сочтены — судьей или вообще
у вас их, что называется, кот заплакал.

Что-что, а примет у нас природа не отберет.
Херувим — тот может не знать, где у него перед,
где зад. Не то человек. Человеку всюду
мнится та перспектива, в которой он
пропадает из виду. И если он слышит звон,
то звонят по нему: пьют, бьют и сдают посуду.

Поэтому лучше бесстрашие! Линия на руке,
пляска розовых цифр в троллейбусном номерке
плюс эффект штукатурки в комнате Валтасара
подтверждают лишь то, что у судьбы, увы,

вариантов меньше, чем жертв; что вы скорей всего, кончите именно как сказала

цыганка ващей соседке, брату, сестре, жене приятеля, а не вам. Перо скрипит в тишине, в которой есть нечто посмертное, обратное танцам в клубе, настолько она оглушительна; некий антиобстрел. Впрочем, все это значит просто, что постарел, что червяк устал извиваться в клюве.

Пыль садится на вещи летом, как снег зимой. В этом — заслуга поверхности, плоскости. В ней самой есть эта тяга вверх: к пыли и к снегу. Или просто к небытию. И, сродни строке, «не забывай меня» шепчет пыль руке с тряпкой, и мокрая тряпка вбирает шепот пыли.

По силе презренья догадываешься: новые времена. По сверканью звезды — что жалость отменена, как уступка энергии низкой температуре либо как указанье, что самому пора выключить лампу; что скрип пера в тишине по бумаге — бесстрашие в миниатюре.

Внемлите же этим речам, как пению червяка, а не как музыке сфер, рассчитанной на века. Глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья песня. Того, что грядет, не остановить дверным замком. Но дурное не может произойти с дурным человеком, и страх тавтологии — гарантия благополучья.

НА СТОЛЕТИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острые и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно — слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
поскольку жизнь — одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной.

1989

ОБЛАКА

О, облака
Балтики летом!
Лучше вас в мире этом
я не видел пока.

Может, и в той
вы жизни клубитесь —
конь или витязь,
реже — святой.

Только Господь
вас видит с изнанки,
точно из нанки
рыхлую плоть.

То-то же я,
страхами крепок,
вижу в вас слепок
с небытия,

с жизни иной.
Путь над гранитом,
над знаменитым
мелкой волной

морем держа,
вы — изваянья
существованья
без рубежа.

Холм или храм,
профиль Толстого,
Рим, холостого
логова хлам,

тающий воск,
Старая Вена,
одновременно
айсберг и мозг,

райский анфас —
ах, кроме ветра,
нет геометра
в мире для вас!

В вас, кучевых,
перистых, беглых,
радость оседлых
и кочевых.

В вас мне ясна
разность, бессвязность,
сумма и разность
речи и сна.

Это от вас
я научился
верить не в числа —
в чистый отказ

от правоты,
веса и меры

в пользу химеры
и лепоты!

Вами творим
остров, чей образ
больше, чем глобус,
тесный двоим.

Ваши дворцы —
местности счастья
плюс самовластия
сердца творцы.

Пенный каскад
ангелов, бальных
платьев, крахмальных
крах баррикад,

брак мотылька
и гималаев,
альп, разгуляев —
о, облака.

в чутком греху
небе ничейном
Балтики — чей там,
там, наверху,

внемлет призыв
ваша обитель?
Кто ваш строитель,
Кто ваш Сизиф?

Кто там, вовне,
дав вам обличья,
звук из величья
вычел, зане

чудо всегда
ваше беззвучно.
Оптом, поштучно
ваши стада

движутся без
шума, как в играх
движутся, выбрав
тех, кто исчез

в горней глуши
вместо предела.
Вы — легче тела,
лучше души.

1989

СОДЕРЖАНИЕ

Странник. *Вступительная статья Я. Гордина.* — 5

Стихотворения

- Рождественский романс — 19
 От окраины к центру — 21
 «Огонь, ты слышишь, начал угасать...» — 26
 Большая элегия Джону Донну — 27
 Исаак и Авраам — 33
 Ломтик медового месяца — 51
 В распутицу — 52
 Развивая Крылова — 54
 «Ты выпорхнешь, малиновка, из трех...» — 56
 «Дни бегут надо мной...» — 57
 Обоз — 58
 С грустью и с нежностью — 59
 «В деревне Бог живет не по углам...» — 60
 Песня — 61
 Вечером — 62
 «Сумев отгородиться от людей...» — 63
 Остановка в пустыне — 64
 Postscriptum — 67
 Послание к стихам — 68
 Речь о пролитом молоке — 70
 Открытка из города К. — 81
 Подсвечник — 82
 Шесть лет спустя — 84
 «На Прачечном мосту, где мы с тобой...» — 86

- Строфы — 87
 Горбунов и Горчаков — 90
 Зимним вечером в Ялте — 133
 Конец прекрасной эпохи — 134
 Из «Школьной антологии» — 137
 Разговор с небожителем — 141
 Post aetatem nostram — 149
 Одному тирану — 159
 24 декабря 1971 года — 160
 Письма римскому другу — 162
 Сретенье — 165
 В озерном краю — 168
 Бабочка — 169
 На смерть друга — 175
 Двадцать сонетов к Марии Стюарт — 176
 Темза в Челси — 186
 Осенний крик ястреба — 189
 Колыбельная трескового мыса — 193

Часть речи

- «Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря...» — 205
 «Север крошит металл, но щадит стекло...» — 205
 «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» — 206
 «Это — ряд наблюдений. В углу — тепло...» — 206
 «Потому что каблук оставляет следы — зима...» — 207
 «Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с ...» — 207
 «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле...» — 207
 «Что касается звезд, то они всегда...» — 208
 «В городке, из которого смерть расплзалась по школьной карте...» — 208
 «Около океана, при свете свечи, вокруг...» — 209
 «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...» — 209
 «Тихотворение мое, мое немое...» — 209
 «Темно-синее утро в заиндевевшей раме...» — 210
 «С точки зрения воздуха, край земли...» — 210
 «Заморозки на почве и облысенье леса...» — 210
 «Всегда остается возможность выйти из дому на...» — 211
 «Итак, пригревает. В памяти, как на меже...» — 211

- «Если что-нибудь петь, то перемену ветра...» — 212
 «...и при слове "грядущее" из русского языка...» — 212
 «Я не то что схожу с ума, но устал за лето...» — 212
- К Евгению — 214
 Новый Жюль Верн — 216
 Квинтет — 223
 Письма династии Минь — 227
 Развивая Платона — 229
 Bagatelle — 232
 «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» — 234
 Стихи о зимней кампании 1980-го года — 235
 «Я был только тем, чего...» — 238
 Эклога 4-я (зимняя) — 240
 Эклога 5-я (летняя) — 246
 Ария — 254
 Римские элегии — 256
 Бюст Тиберия — 262
 Венецианские строфы (2) — 266
 Сидя в тени — 269
 На выставке Карла Вейлинка — 276
 «Как давно я топчу, видно по каблуку...» — 279
 «Точка всегда обозрима в конце прямой...» — 280
 «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...» — 281
 «Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке...» — 282
 Послесловие — 283
 «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга...» — 285
 Примечание папоротника — 286
 На столетие Анны Ахматовой — 288
 Облака — 289

БИБЛИОТЕКА НОВОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ (Проект Александра Глезера)

Новая русская поэзия, родившаяся в годы хрущевской «оттепели», сразу же была отвергнута властью имущими и литературным истеблишментом, чье благополучие зиждилось на верности казенной и лживой литературе соцреализма. Между тем достаточно назвать всего лишь несколько имен (Иосиф Бродский, Генрих Сапгир, Евгений Рейн, Геннадий Айги, Юрий Кублановский, Виктор Кривулин), чтобы стало ясно — новая русская поэзия является частью великой русской, а не советской литературы, и внесла свою лепту в славную историю русской поэзии.

До последнего времени сборники стихов поэтов, отвергших догматы соцреализма, выходили где угодно — во Франции, Западной Германии, США, Польше, — но только не на родине. Отдельные небольшие книжки и редкие публикации, появившиеся в последние годы в России, не дают хоть в какой-то степени полного представления о богатстве новой русской поэзии, о существующих в ней направлениях и тенденциях.

Библиотека новой русской поэзии, которая ставит своей целью исправить эту несправедливость и познакомить отечественных и западных любителей изящной словесности со свободной русской поэзией, включает в себя более двадцати книг «Избранного» наших ведущих поэтов и выйдет в свет в ближайшие пять лет.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Издательство "Третья волна" приступает к выпуску "Библиотеки новой русской поэзии".

Первые книги выйдут в ближайшее время.

1. Иосиф Бродский "Избранное"
2. Генрих Сапгир "Избранное"
3. Евгений Рейн "Избранное"
4. Лев Лосев "Избранное"

Каждый том объемом около 300 стр. в твердом переплете выходит тиражом 10 000 экз.

Организации и частные лица могут присылать заказы на книги данной серии по адресу:

Центр современной русской культуры
105568 Москва, Челябинская, д. 22, корп. 1, кв. 5

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Издательство "Третья волна" приступает к выпуску "Библиотеки новой русской поэзии".

Первые книги серии выйдут в ближайшие месяцы.

1. Виктор Ерофеев

2. Сергей Юрьенен

3. Евгений Попов

4. Александр Кабаков

Каждый том объемом около 320 страниц в твердом переплете выходит тиражом 10 000 экз.

Организации и частные лица могут присылать заказы на книги данной серии по адресу:

Центр современной русской культуры

105568 Москва, Челябинская, д. 22, корп. 1, кв. 5

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Издательство "Третья волна" предлагает книгу Александра Глезера "Современное русское искусство" (от двадцатых годов до наших дней).

Объем — 530 страниц, альбомный формат, 200 цветных и 70 черно-белых репродукций и фотографий, биографии художников и библиография. Твердый переплет с суперобложкой. Книга на трех языках: русском, французском и английском.

Организации и частные лица могут присылать заказы на книги данной серии по адресу:

Центр современной русской культуры

105568 Москва, Челябинская, д. 22, корп. 1, кв. 5

Иосиф Бродский "Избранное"

Сдано в набор 10.10.92 г. Подписано к печати 28.12.92 г.
Формат 60×88/16. Бумага офсетная. Гарнитура "Гаймс".
Усл.-печ. л. 18,5. Тираж 10 000 экз. Заказ № 1021

"Центр современной русской культуры".
Издательство "Третья волна".
Москва, Каретный ряд, 3.

Отпечатано в Московской типографии № 11
113105, Москва, Пагатинская ул., д. 1.

